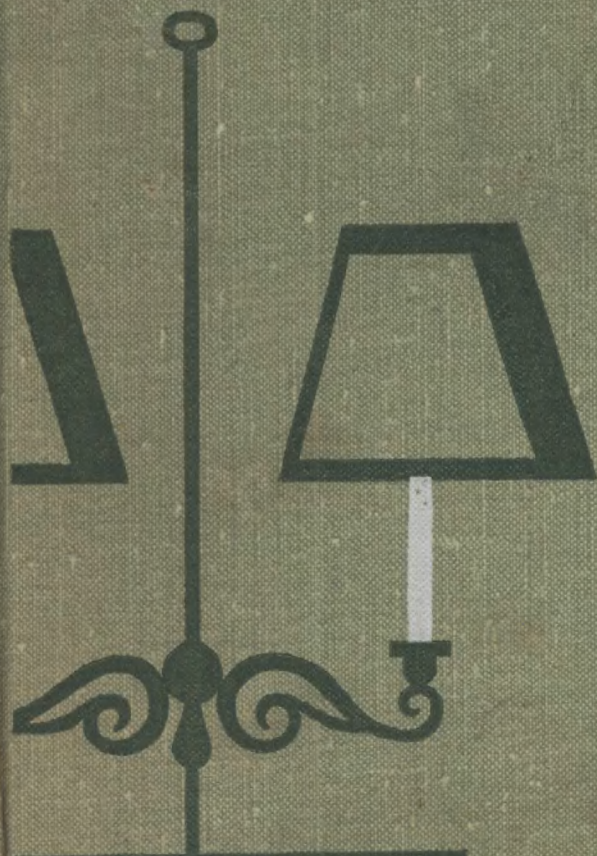


НИК. ЯНОВСКИЙ-МАКСИМОВ

ПОСЛЕДНИЕ
ГОДЫ
БАГРОВА-
ВНУКА



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

НИК. ЯНОВСКИЙ-
МАКСИМОВ

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ БАГРОВА-ВНУКА



ПО ДОРОГИМ МЕСТАМ
НИК. ЯНОВСКИЙ — МАКСИМОВ

ПОСЛЕДНИЕ
ГОДЫ
БАГРОВА-
ВНУКА

С. Т. АКСАКОВ
В АБРАМЦЕВЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“
МОСКВА
1966

8Р1
Я64



Научный редактор
Э. Л. ВОЙТОНОВСКАЯ

Оформление Н. Мунц

Цветные и черные фотографии
Г. Липскерова

*Издательство и автор приносят благодар-
ность сотрудникам Музея-усадьбы «Аб-
рамцево» и особенно директору музея
Н. П. Пахомову, оказавшим помощь в
работе над этой книгой.*

Там лес и дол видений полны...

Пушкин



ГОГОЛЯ ждали к чаю.

Вера Сергеевна, старшая дочь Аксакова, стремительно направилась к дороге. Широкое серое платье с пелеринкой раздувалось от быстрой ходьбы. Косынка упала на плечи. В руках она теребила смятый кружевной платочек. Вера пристально вглядывалась в сторону елового леса: не видна ли тройка?..

На дороге безлюдно.

Вера постояла и вернулась к дому. Навстречу выбежала сестра Мария. В семье ее звали Марихен. Всегда веселая, шумная, она бросилась к Вере, но, увидев взволнованное лицо сестры, нахмурилась, сморщила лоб, тихо спросила:

— Гоголя все нет?

— Приедет, Марихен,— ответила Вера.

— Маменька второй уже раз велела разогреть самовар... А на обед заказаны макароны для Гоголя. Он их так любит...

— Макароны, говоришь, приготовлены?..— безучастно спросила Вера, чтобы что-нибудь ответить сестре. Она думала о Гоголе, боясь признаться себе, что тревожится: почему его нет, не случилось ли чего-нибудь?

Вера помолчала, потом спросила:

— Где отесенька?

— В столовой... Сидит. Курит.

— А Константин?

— У себя. Не выходит...

Марихен замолкла, посмотрела на сестру. Улыбнувшись своим озорным мыслям, хотела сказать, что Гоголь, наверно, обманул и не приедет, но сдержалась. Вместо этого с подчеркнутой гордостью произнесла:

— А знаешь, я вчера одна двадцать пять белых грибов собрала. Больше всех!

Вера поняла нехитрую, но очень милую попытку сестренки развеселить ее, обняла Марихен, и они пошли по дорожке к дому.

Перед домом широким ковром раскинулась зеленая мурава. И цвет ее был так ярко зелен, что на ее фоне резко выделялся длинный светлосерый дом. Он стоял прочно, солидно и спокойно глядел на зеленый двор большими окнами с раскрытыми ставнями. И двор, и начинающийся здесь парк отвечали дому таким же миром и спокойствием.

Подойдя к крыльцу, Марихен остановилась и, подбоченьясь, подражая Гоголю, запела его любимую украинскую песенку: «Нехай так, нехай так!..» Притопывая, как он, в такт песне, повертелась и побежала к открытой двери.

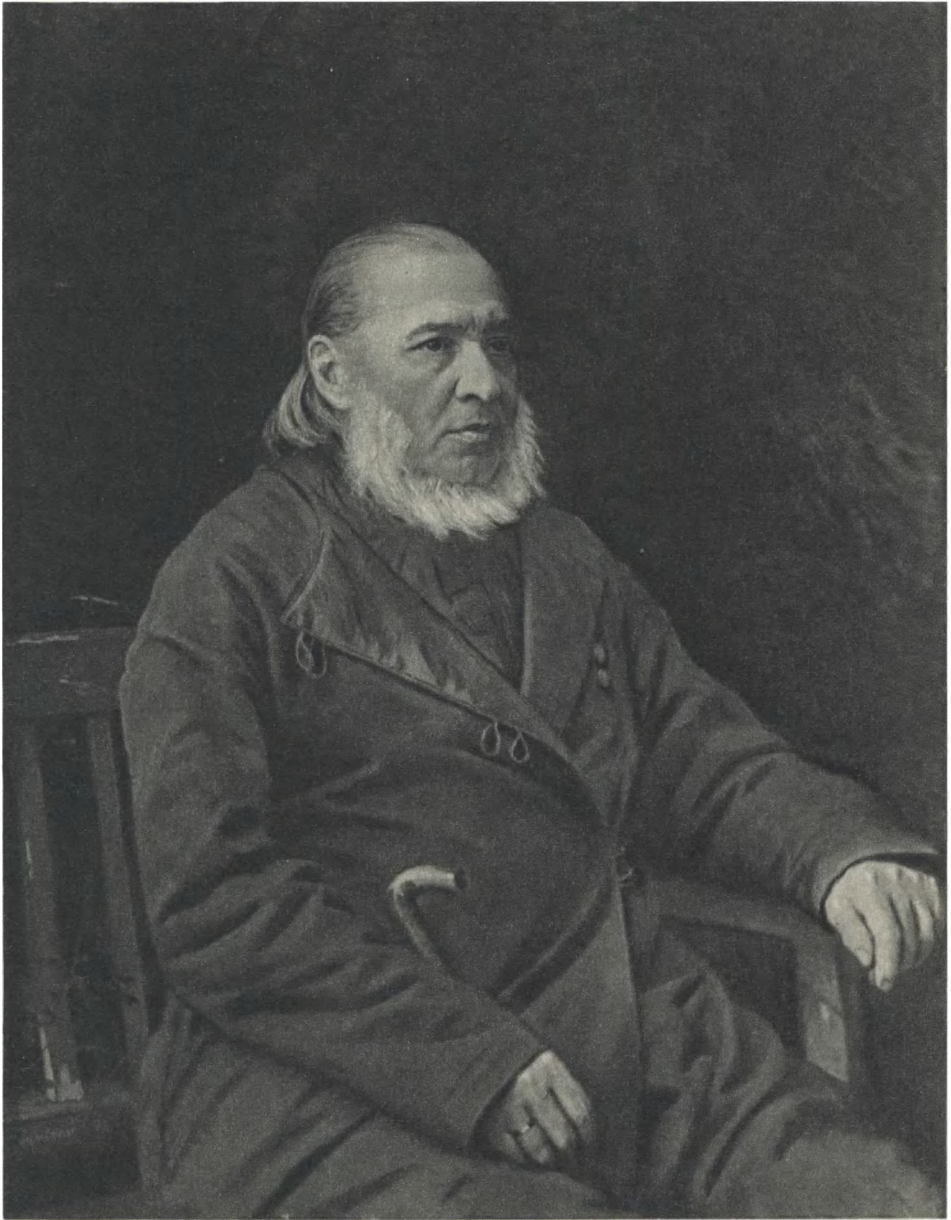
Вера ласково посмотрела вслед убежавшей сестре и, глядя на дом, улыбнулась. Она любила его, свой светлый уютный дом, тенистые аллеи старого парка, широкие луговые просторы за ним. Впервые приехав сюда, Вера писала двоюродной сестре Машеньке Карташевской, жившей в Петербурге: «Какое очаровательное место наше Абрамцево! Куда ни взглянешь, все разнообразные виды и ландшафты... Когда подъезжаешь от Москвы, версты за две уже виднеется наш дом, потом опять исчезает и показывается уже тогда, когда к нему подъезжаешь. Дом сам по себе очень хорош, поместителен и удобен так, как нельзя больше. Он даже очень красив внутри...

Как только ты войдешь в дом и выйдешь на большой балкон из гостиной, перед тобой откроется чудесный вид, тут ты увидишь, что стоишь на высокой горе, которая перед домом скрыта в три больших уступа, на которых расположены цветники и собственно сад, влево примыкающий к прекрасной роще с большими деревьями, с дорожками, идущей вдоль берега. Я говорю «бэрега», потому что по долине, которая под горой, течет прекрасная речка в кустах...

Мы приехали, когда синель¹ была в полном цвету, а она у нас необыкновенно крупна и хороша, какого-то особенного сорта, все кусты были облиты самым пышным цветом. Синели у нас отцвели, теперь распускается воздушный жасмин и скоро лопнут розы...»

...Постояв у крыльца, Вера снова вышла на дорогу. Но здесь

¹ Синель — сирень.



Сергей Тимофеевич Аксаков.
Портрет работы И. Н. Крамского. 1878 г.
Гос. Третьяковская галерея.

по-прежнему было тихо. Пыль на дороге лежала нетронутой, ветерок не шевелил придорожной травы.

Вера вернулась и пошла по липовой аллее в густой зеленый сумрак. Аллея вскоре превратилась в узкую тропинку и ринулась с косого ра вниз. Минув шаткий мостик, Вера вошла в белоствольное царство берез. Они стояли, как белые свечи в зеленом храме.

«Белые боги!..» — вспомнила Вера свое письмо к Машеньке Карташевской. В письме она рассказывала, что вся местность от Радонежья до Хотькова монастыря, включая Абрамцево, в старину называлась «Белые боги», что будто там, в Радонежье, были найдены остатки каких-то белых каменных языческих идолов.

«Может быть,— подумала Вера,— «белыми богами» были березы, идущие вперед и вперед, и светлая дорожка, влекущая вниз в залитую солнцем широченную ярко-зеленую пойму реки Воря...»

Речка Воря, словно оправдывая свое название, воровато пряталась среди ивняка. Осторожно обходила каждый бугорок, текла вперед, возвращалась, петляла, медленно пробираясь дальше.

За березами ели гостеприимно протягивали свои мохнатые руки, приглашая войти в глубь леса. За ними, словно перебегая с места на место, шло мелколесье из орешника и дикой малины.

Вера повернула к дому. Все думалось о Гоголе. Долгие годы разлуки стали стеной между семьей Аксаковых и Гоголем. Ах, Италия, Италия — чужой, далекий край, где столько лет пробыл Гоголь! Под знойным небом холод одиночества. Разве можно оторваться от родной земли и не потерять силу?!

Вера вспоминает их встречу в Москве после шестилетнего пребывания Гоголя в Италии. Он вернулся в Москву в сентябре 1848 года и тотчас пришел к ним. Аксаков был тогда в Абрамцево.

Встретились они лишь в октябре. Первое свидание было холодное, сдержанное. Слишком много в прошлом взаимных обид, упреков, обвинений.

За границей у Гоголя усилился начавшийся еще в Москве душевный надлом. Гоголь все больше погружался в тьму религиозной мистики и дошел до того, что отрекся от всего написанного. Аксаков в многочисленных письмах предостерегал Гоголя от грозящей ему как писателю гибели. Их горячая дружба в эти годы полна мучительных переживаний. По приезду в Москву Гоголь стал бывать у Аксаковых почти ежедневно. Прежняя дружба восстановилась.

Гоголь как будто окреп, даже пополнел. Он был оживлен, весел, много рассказывал. К весне, правда, снова стал жаловаться на слабость, захандрил. Потом поправился. И все же...

«Кажется, как будто не тот Гоголь», — пишет Вера Машеньке Карташевской.

И вот теперь Гоголь едет к ним в Абрамцево. Предстоящая встреча волнует семью Аксаковых. Что везет он им? Второй том «Мертвых душ»?



Аллея, ведущая к усадьбе «Абрамцево».

Но написан ли он? Что они услышат? Смог ли Гоголь продолжить свое великое произведение? Или...

Больше всех беспокоится Вера. Она восторженно преклоняется перед Гоголем, беззаветно верит в его великое призвание, считает его «святым человеком».

* * *

Оставив сестру, Марихен, мурлыча гоголевскую песенку, вбежала в просторную прихожую и чуть не споткнулась. Здесь стояло множество удочек, начиная от пискарных и кончая струнными с большими крючьями для живой насадки, разнообразных удилищ, лёс и всяких принадлежностей для ужения рыбы. Среди них были удочки особенно ценные, подаренные Аксакову. Одна прислана почитательницей писателя, с лесой, сплетенной из волос этой женщины.

Марихен вбежала в столовую.

— Отесенька, его все нет!

Сергей Тимофеевич сидел за круглым столом, курил. Чтобы дым не повредил больным глазам, курил из длинного чубука. Он был в расстегнутом черном кафтане, в синей рубахе.

В углу стояла большая клетка из старого бредня. В клетке — три чижа и дрозд. Долго смотрел он на возню птиц, особенно на оживленного дрозда. Поговорив с Марихен, поднялся и направился в кабинет.

Аксаков высок, крепок, статен. Производит впечатление сильного человека, хотя любит приговаривать: «Стар я, хвор...» Он белокур. Голова с сильной проседью, борода совсем белая. Глаза серовато-зеленые, светлые, ясные. Взгляд открытый, спокойный. В нем — не апатия, не безразличия, а воля, энергия.

Аксаков — человек большой души. Он правдив, непреклонен в вопросах морали. Добр, чутко относится к людям. И люди тянутся к нему за советом, помощью, нравственной поддержкой.

Сергею Тимофеевичу шел шестой десяток. Позади большая жизнь. Пройден длинный путь — от безоблачного детства в зажиточной дворянской семье, среди раздолья степных просторов Оренбургского края, до жизни в Абрамцево, до литературной славы.

На склоне лет здесь с новой силой вспыхнула давнишняя страстная любовь к природе. Пробудилась зародившаяся еще в детстве острая потребность запечатлеть все виденное, весь окружающий мир и рассказать обо всем этом людям.

«...Горячая любовь к природе и живым творениям, населяющим божий мир,— писал Аксаков,— не остывала в душе моей, и через пятьдесят лет, обогащенный опытами охотничьей жизни страстного стрелка и рыбака, я оглянулся с любовью на свое детство,— и попытки мальчика осуществил шестидесятилетний старик».

Несмотря на усиливающуюся болезнь глаз, Аксаков с новой силой, самозабвенно, страстно стал служить искусству, которому, по его словам, «поклоняется, как язычник». Он создает свои самые значительные произведения. В 1847 году, спустя четыре года после переезда в Абрамцево, им написана книга «Записки об уженье»; в 1852 году выходят в свет его «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», а в 1856 году он завершает свой пятнадцатилетний труд — «Семейную хронику», два года спустя, в 1858 году, издается самое крупное произведение Аксакова — «Детские годы Багрова-внука».

Вот и теперь Сергей Тимофеевич направляется к себе в кабинет, чтобы засесть за работу над записками об охоте, хотя с минуты на минуту ждет Гоголя.

В дверях Аксаков столкнулся с Верой.

— А Гоголя все нет, отесенька,— говорит она с тревогой.

— Ничего, приедет. Запаздывает, как всегда.

— Не случилось ли чего-нибудь?..

— Дурное предчувствие? Страхи? Вещие голоса?.. Эх, Вера, Вера!..

— Что вы, отесенька, смеетесь? Всё может случиться, особенно с Гоголем.

— Любит он причуды всякие, Николай Васильевич. Вот и все.

— При чем тут причуды?



Терраса дома С. Т. Аксакова в Абрамцево.

— А при том, что любит Гоголь разные мистификации...

В семье Аксаковых долго рассказывали, как по дороге из Петербурга в Москву Гоголь, сидя в почтовой карете рядом с их знакомым Петром Ивановичем Пейкером, уверял его, что он не Гоголь, а Гогель, круглый сирота, самый несчастный человек на свете. Он дурачил своего собеседника трое суток, чтобы тот не приставал к нему с вопросами о его писательских планах. «Гоголь любил уединение дороги,— писал потом Аксаков.— Невинная выдумка возвращала ему полную свободу, и он, подняв воротник шинели выше своей головы (это была его любимая поза), всю дорогу читал потихоньку Шекспира или предавался своим творческим фантазиям».

За долгие годы знакомства Сергей Тимофеевич узнал многие, порою очень странные, проказы своего друга и не поражался, как другие. Аксаков с любовью пишет в своих воспоминаниях о том, например, как Гоголь, направляясь в 1839 году вместе с ним из Москвы в Петербург, стал на какой-то станции убеждать торговца пряниками, что тот торгует не пряниками, а мылом. «Продавец сначала очень серьезно и убедительно доказывал, что это точно пряники, а не мыло, и, наконец, рассердился».

Из воспоминаний Аксакова известен и другой случай, когда Гоголь в течение четырех суток не проронил ни слова, сидя в дилижансе рядом с другом аксаковской семьи — известным охотником и рыболовом Ф. И. Васьевым, которому был обещан веселый спутник в дороге.

Аксаков долго помнил, как, придя однажды к Жуковскому, узнал, что Гоголь здесь, заперся в кабинете, не выходит. Когда Жуковский провел его к Гоголю, то Аксаков, как он потом писал, «едва не закричал от удивления. Передо мной стоял Гоголь в следующем фантастическом костюме: вместо сапог длинные шерстяные русские чулки выше колен; вместо сюртука, сверх фланелевого камзола, бархатный спензер; шея обмотана большим разноцветным шарфом, а на голове — бархатный малиновый, шитый золотом кокошник, весьма похожий на головной убор мордовок».

Но все это было давно, чуть ли не десять лет назад, а теперь — каков Гоголь теперь?

Разговаривая с Верой, Аксаков прошел в кабинет. Сел за стол и ласково спросил дочь:

— А может, Верочка, пока попишем малость?

Сергей Тимофеевич очень любил старшую дочь, всегда выделял ее, называя «моя умница Вера», «мой друг Вера». Теряя зрение, он не мог уже сам писать и диктовал Вере, часто советуясь с ней.

Вера разложила большие листы бумаги, плотные, глянцевиные. На таких листах писали тогда прошения губернаторам. Она взяла гусиное перо и стала ждать.

Аксаков сел за стол, стоявший у окна, провел ладонью по лбу и волосам, призадумался, погладил бороду. Вера ждала. Сергей Тимофеевич встал, походил по комнате, снова сел. Выглянул в окно. И тут, как



Ольга Семеновна Аксакова, жена писателя.
Акварель неизвестного художника. 40-е годы XIX века
Музей-усадьба «Абрамцево».

всегда, зеленая цветущая земля, неумолкающий в парке птичий гомон вызвали в нем особое чувство. Оно переносило его в другой мир: то в недавнее прошлое, то рождало мечты, то уносило в далекие ранние годы жизни. До мельчайших подробностей вспоминалось детство, которое потом ожило в замечательной книге «Детские годы Багрова-внука».

«Деревня обняла меня своим запахом молодых листьев и расцветающих кустов, своим пространством, своею тишиною и спокойствием,— писал он об Абрамцеве сыну Ивану.— Не умею объяснить тебе, какой мир пролился в мою душу».

Оставив сутолоку московской жизни с ее, как он говорил, мнимыми бурями, попав в этот тихий уголок, Аксаков все чаще предавался воспоминаниям и создавал картины прошлого. Богатая рыбой речка Воря пробудила страсть рыболова. Появилась удочка — далекий друг детства. Ужение вновь влечет Аксакова. Летом и осенью, в жару и в непогоду Аксаков у Вори. Он пишет:

Люблю я, зонтиком прикрытый,
В речном изгибе, под кустом,
Сидеть от ветра под защитой,
Согретый теплым зипуном,—
Сидеть и ждать с терпеньем страстным.
Закинув удочки мои
В зеленоватые струи.
В глубь Вори тихой и неясной...

Вместе со страстью рыболова возникло и вдохновение писателя: он пишет о рыбах, реках, озерах. Им он посвящает свою первую книгу.

Перед мысленным взором Аксакова возникают картины прошлого, всплывают образы людей, воспоминания о событиях, проносится ушедшая эпоха. Тенистый сумрак абрамцевского леса, волнующий шелест молодой березовой поросли, высокое бледно-голубое небо над луговыми просторами — весь пленительный облик Подмосковья, сердца любимой родины, вызвал в Аксакове творческое вдохновение, воплотившееся в его произведениях.

И теперь, глядя из окна в залитый солнцем сад, он не мог оторваться от своих раздумий.

— Я готова,— тихо проговорила Вера.

Словно очнувшись, Сергей Тимофеевич спросил:

— Что будем писать? Об охоте? Заканчивать «Записки ружейного охотника»? Или поработаем над «Семейной хроникой»?

— Лучше, мне кажется, поскорей закончить записки об охоте. Ведь о них уже знают, их ждут.

Действительно, после «Записок об уженье» от Аксакова ждали новой книги — об охоте.



Обложка первого издания книги С. Т. Аксакова
«Записки об уженъѣ». 1847 г.
Музей-усадьба «Абрамцево».

Во вступлении к «Запискам об ужении» Аксаков писал, что его книга «не больше и не меньше, как простые записки страстного охотника». В действительности же, книга явилась горячим, вдохновенным призывом проникнуть в тайные тайны природы, познать ее и слиться с ней, черпая новые силы. Рассчитанная на рыболовов, написанная в форме деловых советов по ужению с подробным описанием способов рыбной ловли, рыболовных снастей и описанием разных пород рыб, книга по выходе в свет привлекла к себе общее внимание. Успех был огромный. Осуществилась надежда Аксакова. Он в 1845 году писал Гоголю: «Надеюсь, что эта книжка не только будет приятна охотнику удить, но и всякому, чье сердце открыто впечатлениям раннего утра, позднего вечера, роскошного полдня».

«Записки об ужении» выдержали за первое десятилетие три издания.

Книга Аксакова о природе родной страны глубоко волновала. «В ней столько поэзии, в этой небольшой книжечке,— писал И. И. Панаев в «Современнике»,— сколько вы не отыщете в целых томах различных стихотворений и поэм, которые нравились и точно имеют в себе некоторые поэтические достоинства».

Окрыленный признанием, Аксаков горячо взялся за новую книгу об охоте и теперь ежедневно диктует Вере «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии». Наряду с этим он продолжает начатую работу над «Семейной хроникой».

Склонив голову на правую руку, Сергей Тимофеевич приготовился диктовать дочери, но остановился и сказал:

— Восьмой год уже пошел, как я начал писать воспоминания о семье Багровых, а конца-края не вижу. А почему? Все примеряю, взвешиваю, сопоставляю, чтобы живых людей не обидеть. Знаешь, ведь пронюхали наши родичи, что пишем с тобой «Семейную хронику», и всполошились: как, дескать, можно живых людей срамить, выставлять их напоказ? Но что поделаешь! Против правды не пойдешь.

— Бог правду видит...— заметила Вера.

— Но не скоро скажет,— подхватил шутливо Аксаков.— Вот уж подлинно у меня по этой поговорке выходит!

Помолчав, он сказал:

— А ведь как тянет, как зовет прошлое!.. Я вижу его и не могу оторваться. Не могу не рассказать о нем. А природа? Боже мой, как была хороша эта дикая, девственная природа! Нет, ты уже не та теперь, не та, какой я знавал тебя,— свежую, цветущую... Но ты все еще прекрасна, моя Оренбургская губерния! А люди? Потомки должны их знать.

— Герои? — несколько саркастически спросила Вера.

— Нет, Верочка, не герои. Ни сам Степан Михайлович Багров, ни жена его Арина Васильевна, ни дочери, ни многострадальная Парашенька, ни даже Куролесов, о котором будет много толков,— никто из моей «Семейной хроники» не героическая личность. Они в тиши и неизвестности прожили свою жизнь. Это были люди добрые и злые, невежественные и



Уголок кабинета С. Т. Аксакова в Абрамцево.

просвещенные, но их жизнь не лишена поэзии. Она так же поучительна для нас, как и наша жизнь будет поучительна для потомства... Они были действующими лицами великого всемирного зрелища и стоят воспоминания.

— Записать? — спросила Вера.

— Нет, погоди...

Аксаков снова встал, походил по комнате. Сел и решительно сказал:

— Нет, Верочка, сегодня у нас ничего не выйдет! Мысли какие-то неясные. Займемся лучше письмами. Решил Погодину написать. Ведь это бессовестно, наконец, то, что он делает? Цензура режет мои сочинения, а Погодин в искаженном виде помещает их в своем «Москвитянине». Дал ему, редактору, как ты знаешь, по его же просьбе статью, а что получилось? Стыдно мне было читать напечатанное... Неужели сей редактор совсем потерял совесть?..

Аксаков все больше раздражался. Вера знала, что разговор о цензуре всегда волнует отца.

Она в смущении стала с преувеличенным вниманием разглядывать кончик гусиного пера: то обмакивала его в чернильницу, то стряхивала чернила.

— Пиши, Вера! — И Аксаков стал диктовать: — «Уважаемый Михаил Петрович! Вы поступили бесчеловечно. Моя статья совершенно изуродована. Статья, которая будет прочтена всеми, знающими на Руси грамоту, от государя до последнего сидельца в мучной лавке. Цензура уничтожила все, что дает характерную цветистость моей статье,— все, что намекает на мой собственный затаенный образ мыслей...»

Вера остановилась, прервала отца:

— Зачем, отесенька, писать про какие-то затаенные мысли? Не ровен час, письмо может попасть в чужие руки... Михаил Петрович и так поймет вас.

— Поймет ли?..— стал медленно остывать Аксаков.— Захочет ли Погодин понять? Он, боясь цензуры и в угоду ей, сам еще вычеркивает...

Написали еще несколько писем. Вера стала складывать листы бумаги, собираясь уйти.

Аксаков, как всегда угадывая мысли Веры, громко произнес:

— Что Гоголь так замешкался?

Вера промолчала. Спрятав в стол папку с бумагами, вышла.

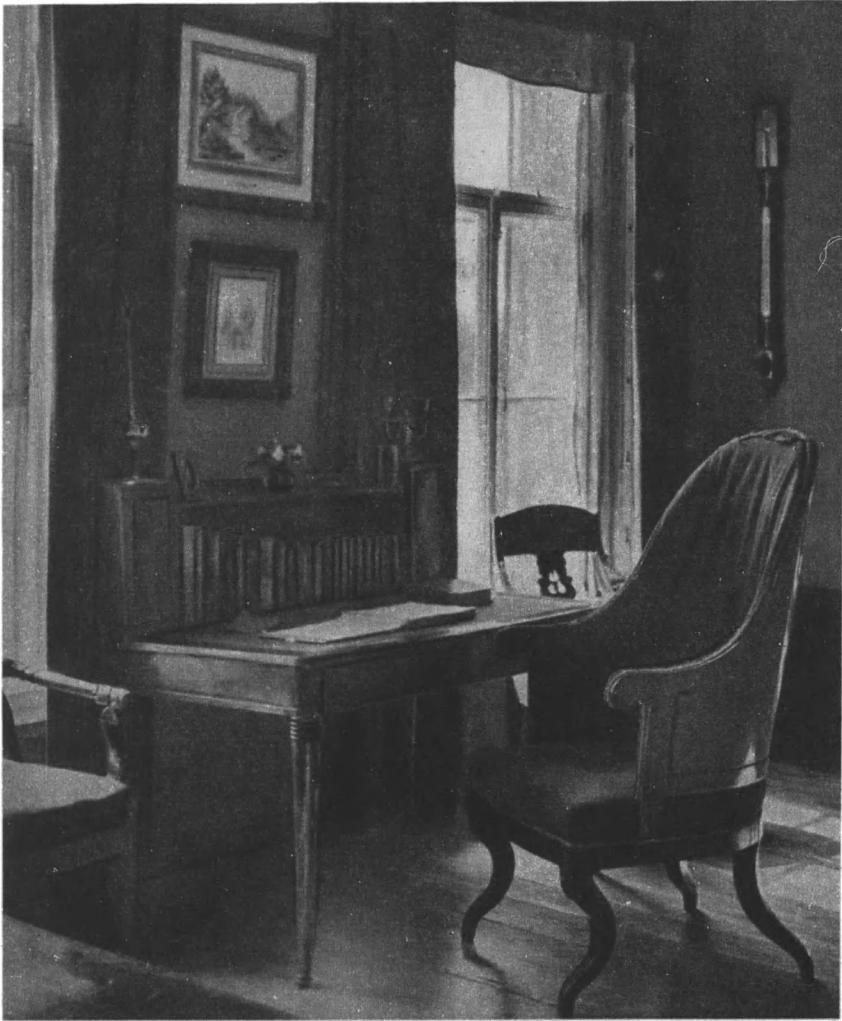
Она снова спустилась на дорогу.

По-прежнему безлюдно... Все застыло. И темный еловый лес, и придорожная трава, и, казалось, даже солнце в вышине. Все потеряло былую живость.

Тишина становилась нестерпимой.

* * *

В кабинете Аксакова между окон стоял небольшой письменный стол красного дерева. Над столом портрет Гоголя, копия с работы художника Моллера. Подлинник находился у Хомякова. Аксаков считал этот портрет наиболее точным. На стенах фамильные портреты: отца — Тимофея Степановича Аксакова, человека мягкого, безвольного; матери — Марии Николаевны, урожденной Зубовой, женщины очень красивой,



Письменный стол С. Т. Аксакова в его кабинете.

с лицом несколько надменным, но умным и энергичным; жён писателя — Ольги Семеновны, дочери суворовского генерала Заплатина. Ее мать — пленная турчанка Игель-Сюм, на которой Заплатин женился после взятия Очакова. Висели портреты любимой сестры Аксакова Надежды Тимофеевны и ее мужа Карташевского — математика, профессора и впоследствии сенатора. Были здесь и другие семейные портреты.

Аксаковы — один из старинных дворянских родов России. Своим родоначальником они считали приехавшего в 1027 году в Киев варяга Шимона Африкановича, племянника норвежского короля Гакона Слепого. Древность рода восходила к временам Ярослава Мудрого. Потомок Шимона, Иван Федорович Вельяминов, по прозвищу Оксак (по-татарски — «хромой»), жил при царе Иване III. От него и пошел род Оксаковых, позднее Аксаковых. При первых Романовых Аксаковы занимали почетные места воевод, стряпчих, стольников и за верную службу были жалованы вотчинами и поместьями.

В кабинете Сергея Тимофеевича мягкая мебель красного дерева, у стены широкий диван, крытый несколько истертым темно-зеленым штофом, — любимое место Гоголя. Диван долго хранил вмятины, и казалось, что вот только сейчас поднялся с дивана Гоголь, потянулся, потер ладони и пошел в любимую им березовую рощу на косогоре за домом.

* * *

Аксаков, увидев в дверях столовой младшую дочь, сказал ей:
— Марихен! Позови ко мне Костеньку!

Он надел зеленый козырек, чтобы защитить глаза от яркого света, и взял со стола книгу.

Долго хранилась в семье Аксаковых переплетенная в темный добротный переплет толстая тетрадь, под названием «Книга для всякой всячины. 1815 года, сентября 28 дня. Москва». Сюда записывали рецепты по солению рыжиков, способы варения смоквы и сиропов, хранения в свежем виде яблок и много других полезных наставлений. Здесь отмечали, сколько пудов муки было получено из Оренбургского имения и сколько израсходовано. В тетради велся также счет денежным долгам, из которых Аксаковы, как сами говорили, «не вылезали». Рядом с этими записями были стихи, наброски, отрывки будущих сочинений Аксакова.

В тетради лежали два листка почтовой бумаги, на которых мелким, неразборчивым почерком было написано стихотворение о снежной метели. Оно начиналось словами:

Сияет солнце, воздух тих;
Недвижимы дерев вершины,
Спокойны снежные пучины;
Алмазный блеск горит на них
И ослепляет взор прельщенный...

И вдруг налетает буран:

...Земля смешалась с небесами,
Бушует снежный океан,
Всё белый мрак одел крылами,
Настигла ночь, настал буран!..



Уголок кабинета С. Т. Аксакова.

Это был первоначальный стихотворный вариант написанного Аксаковым очерка «Буря». Очерк стал одним из самых замечательных образцов аксаковской прозы. Перед читателем раскрывалась созданная большим художником картина разыгравшейся снежной метели ночью в глухой степи:

«...Все слилось, все смешалось: земля, воздух, небо превратились в пучину кипящего снежного праха, который слепил глаза, занимал дыхание, ревел, свистал, выл, стонал, бил, трепал, вертел со всех сторон, сверху и снизу, обвивался, как змей, и душил все, что ему ни попадалось».

Когда очерк был напечатан в альманахе «Денница на 1834 год», его высоко оценил Пушкин. Он использовал даже аксаковское описание бурана во второй главе «Капитанской дочки».

Впоследствии Лев Толстой многое взял из «Бурана» для своей «Метели». В феврале 1856 года Аксаков писал Тургеневу: «Скажите, пожалуйста, графу Толстому, что «Метель» — превосходный рассказ. Я могу об этом судить лучше многих...»

...Стихотворение о буране было написано давно, чуть ли не двадцать лет назад. Листки пожелтели... Глядя на них, Аксаков вспоминал Пушкина.

...Это было в 1830 году. Некоторые критики уверяли тогда, что Пушкин исписался. Аксаков выступил с горячей статьей в «Московском вестнике» в защиту Пушкина.

«Стихи его [Пушкина], огненными чертами врезанные в душу читателей, сделались народным достоянием», — писал Аксаков. Прочитав статью, Пушкин сказал в присутствии Аксакова, не зная его: «Никто еще никогда не говаривал обо мне, то есть о моем даровании, так верно, как говорит в последнем номере «Московского вестника» какой-то неизвестный барин».

Перелистывая теперь страницу за страницей «Книги для всякой всячины», Аксаков наткнулся на строчку: «За месяц у нас прибавилось 22 новых знакомых. Получили 210 писем».

Прочел и подумал: «А ведь многовато гостей! Что толку в них — один шум, да и только. Писать некогда. А у меня две незаконченные книги. Умница Гоголь, он о дружбе и любви так рассуждает: я-де вас буду больше любить, если вы для моей головы что-нибудь дадите!»

Недаром в Москве говорили, что у Аксаковых открытый дом. Они, мол, никакого дворянского этикета не признают, не считаются ни с чином, ни со званием людей. С утра до вечера толчется у них в городской квартире народ, а летом в подмосковную деревню, в Абрамцево, едет всякий, кому не лень. Сколько разночинцев, актеров, писателей!

Все это было верно.

Вечерами, особенно зимой в городе, собирались, спорили о литературе, о новых пьесах, о театре.

В Москве было тогда не мало гостиных, где, как писал Герцен, «некогда царил А. С. Пушкин; где до нас декабристы давали тон; где смеялся Грибоедов; где М. Ф. Орлов и А. П. Ермолов встречали дружеский привет, потому что они были в опале; где, наконец, А. С. Хомяков спорил до четырех часов утра, начавши в девять; где К. Аксаков с мурмолкой в руке свирепствовал за Москву, на которую никто не нападал,

и никогда не брал в руки бокала шампанского, чтобы не сотворить тайно моление и тост, который все знали; ...где Грановский являлся с своей тихой, но твердой речью; где все помнили Бакунина и Станкевича; где Чаадаев, тщательно одетый, с нежным, как из воску, лицом сердил оторопевших аристократов и православных славян колкими замечаниями, всегда отлитыми в оригинальную форму и намеренно замороженными; ...где Боткин и Крюков *пантеистически* наслаждались рассказами М. С. Щепкина и куда, наконец, иногда падал, как Конгривова ракета, Белинский, выжигая кругом все, что попадало».

Аксаков попытался мысленно сосчитать знакомых, посещавших его дом: «Герцен, Белинский, Станкевич, Грановский, Гоголь, Тургенев, Загоскин, Щепкин, Погодин, Шевырев, Хомяков, Самарин, Павлов, Киреевский, Гильфердинг, Верстовский, Трутовский...» И сбился со счета. Всех не перечить. Вот двух Языковых пропустил: поэта Николая Михайловича и его брата — геолога Петра Михайловича. А ведь бывали... Нет, всех не перечить!..

* * *

По внутренней деревянной лестнице в комнату брата, находившуюся в мезонине, вбежала Марихен.

Константин Сергеевич читал какую-то рукопись. Он сидел за широким столом у окна, выходящего в сад. Над столом висел барельеф Ломоносова — в память диссертации Константина: «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка».

— Конста! — позвала Марихен брата.

— Что, егоза?

— Отесенька зовет.

— А Гоголя все нет?

— Ни духа ни слуха! Не обманул ли?

— Любит он проказы — это верно! Вот, Виссарион Белинский... — начал было Константин, но, словно вспомнив о чем-то, спросил: — А Виссариона помнишь?

— Не маленькая! Помню. — И, пристально взглянув на брата, добавила: — А как отесенька наш любил его!..

Константин нахмурился, прервал Марихен:

— Ладно. Иду.

Ему неприятно было воспоминание о дружеских встречах отца с Белинским.

Марихен выхватила розу из стоящей на столе вазы, ловким движением воткнула себе в волосы и выбежала из комнаты.

Константин Сергеевич Аксаков — смуглый, коренастый, как отец, только пониже ростом. Широкое, несколько татарское лицо, окладистая борода, длинные волосы. В узких глазах то добродушие, мягкость, то упорство. Это было упорство фанатика, уверовавшего в свою правду.

Друг Белинского, его товарищ по университету, Константин Аксаков в дальнейшем стал его врагом.

Константин Сергеевич лениво, не спеша, начал спускаться по крутой лестнице.

В кабинете дверь была полуоткрыта. Он увидел отца, углубленного в чтение какой-то книги. Не похоже на то, что он ждет его с нетерпением. Константин постоял, подумал и пошел искать по дому «егозу» Марихен. Но не успел он сделать несколько шагов, как мимо него вихрем пронеслась Вера. Схватила брата за руку и увлекла за собой к отцу.

— В чем дело? — пытался спросить Константин.

В кабинете запыхавшаяся Вера крикнула:

— Едет, отесенька!..

У крыльца раздался звон бубенцов. Аксаков пошел встречать Го-голя.

Это было 14 августа 1849 года.

Тревога в доме Аксаковых улеглась. Но ненадолго. Впереди было много неожиданного.

ГОГОЛЬ ПРИЕХАЛ!

...Повий, витре, ты на мене,
Щоб я не черныла...

Старинная украинская песня



ТРОЙКА остановилась у крыльца, и из тарантаса вышел Гоголь.

Он быстро сбросил с себя запыленный дорожный плащ, кинул его в тарантас, зябко передернул плечами и подошел к Аксакову.

— Ну, слава богу! Слава богу!.. Приехал!..— приговаривал Сергей Тимофеевич и все ощупывал его плечи, руки...

Поеживаясь, Гоголь потер ладонью озябшие пальцы.

— Ветрено.

— Что вы, Николай Васильевич? Тишина, теплынь, благодать.

— Дорога вся в ухабах...

— Третий год как не чинили.

— Трясло... Все внутренности растерял.

— Авось осталось что-нибудь? — улыбаясь, спросил Аксаков.

— Самая малость.

Разговор потеплел. Посыпались шутки. И в дом Гоголь вошел веселый.

Он сильно изменился. Похудел, бледен. Иными стали глаза. Они то мгновениями светились веселыми искорками, то надолго темнели от за-

таенной грусти. Он часто потирает озябшие пальцы рук. На ногах, несмотря на теплую погоду, поверх башмаков медвежьих сапоги.

Как не похож он на того франтика с хохлом на голове, гладко подстриженными височками и крахмальными воротничками, которого впервые увидел Аксаков семнадцать лет тому назад!

Гоголь — и не тот, каким он приехал в первый раз из Италии в Москву. Тогда еще заодно блестели глаза, белокурые волосы спускались до плеч, усы, эспаньолка. Под длинным сюртуком яркий красный бархатный жилет с цепочкой. В дорожном мешке, с которым он не расставался, лежали головные щетки, ножницы, щипчики, щеточки для ногтей и масло для волос. И среди них — томик Шекспира на французском языке.

А теперь тихая покорность судьбе наложила какой-то особый отпечаток на внешность Гоголя. Чувствовалась усталость от напряженной мысли, истомившей его. Черты лица заострились. Взгляд тревожный. Куда девались прежняя живость, юмор?

Аксаков пристально смотрел на Гоголя, на постаревшее, но такое близкое и дорогое лицо, на длинные, до плеч, но поредевшие волосы, похудевшие руки, и его охватывала тревога за Гоголя. И, может быть, в эти минуты впервые пронеслось в мозгу: «Мученик!.. Мученик высокой мысли, мученик нашего времени!..»

Ольга Семеновна, жена Аксакова, низенькая, толстая, хлопочет у круглого обеденного стола, особенно заботливо проверяя сервировку для Гоголя. По традиции ему ставилось не простое стекло, а розовое. Кушанья подавали ему первому.

Гоголя засыпали вопросами:

— Что нового?

— Новинки какие у Ширяева в книжной лавке?

— Николай Васильевич, а новые песни привезли? — приставала Наденька, дочь Аксакова, которую Гоголь обучал украинским песням.

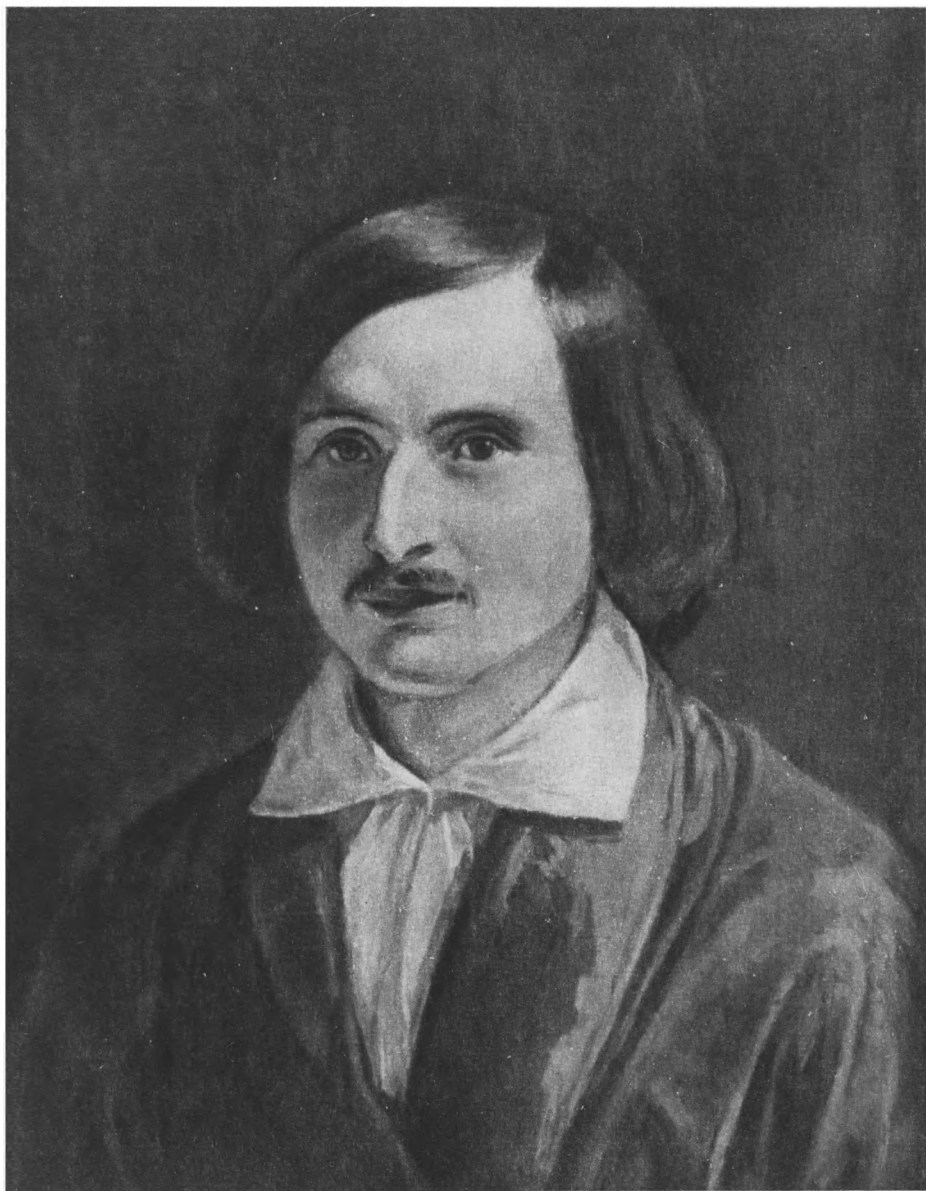
Они, бывало, часто пели вдвоем. Увлечшись пением, Гоголь даже пускался в пляс. Но чаще он пел так, что у Наденьки загорались глаза, рдели щеки, а бывало, появлялись слезы.

Гоголь пел:

Ой, у поли могыла
З витром говорила:
Повий, витре, ты на мене,
Щоб я не черныла...

Пел он часто и другую заунывную песню:

Ой, ходыв чумаки
Сим рик по Дону,
Та не було пригоньки
Никола ёму...



Николай Васильевич Гоголь.
Копия с портрета работы Ф. Моллера. 1841 г.

— Я не могу жить без песен! — восклицал Гоголь.

Особенно высоко ценил он украинские народные песни: «Песни для Малоросии всё: и поэзия, и история, и отцовская могила...»

Уселась обедать. За столом зашумели. Зазвучал громкий девичий смех.

— Да замолчите, вы, чечетки! — пожурил Сергей Тимофеевич.

подавались любимые кушанья Гоголя, под конец обеда — засахаренные орехи и сливы, к которым он был равнодушен.

Гоголь рассказывал анекдоты, шутил. Сергей Тимофеевич вспомнил, как они, Аксаковы, вместе с Гоголем, по дороге в Петербург, остановились в Торжке и на постоялом дворе заказали дюжину котлет, а в котлетах оказались волосы. Гоголь тогда строил предположения, что пьяный повар, дескать, не выпался, был зол, что его разбудили и, готовя котлеты, с досады рвал на себе волосы. А когда послали за половым, Гоголь предсказывал, что половой ответит так: «Волосы-с? Какие же тут волосы-с! Откуда прийти волосам-с? Это так-с, ничего-с! Куриные перышки или пух!..» Когда пришел половой, он так и говорил.

Гоголь не остался в долгу. Он стал рассказывать про встречу, которая была у него недавно в пути. Случайный попутчик говорил, как неудержимо влечет его к себе природа, какая могучая сила заложена в ней. И Гоголь, со свойственным ему мастерством, стал передавать услышанное:

— «Туда бежать от праздности, пустоты и недостатка интересов; туда же бежать от неугомонной, внешней деятельности, мелочных, своекорыстных хлопот, бесплодных, бесполезных, хотя и добросовестных мыслей, забот и попечений! На зеленом, цветущем берегу, над темной глубиной реки или озера, в тени кустов, под шатром исполинского осокоря или кудрявой ольхи, тихо трепещущей своими листьями в светлом зеркале воды, на котором колеблются или неподвижно лежат наплавки ваши, — улягутся мнимые страсти, утихнут мнимые бури, рассыплются самолюбивые мечты, разлетятся несбыточные надежды! Природа вступит в вечные права свои...»

Аксаков с первых же слов стал улыбаться и все порывался что-то сказать. Переглянувшись с отцом, заулыбалась и Вера.

Аксаков не выдержал и прервал Гоголя:

— Никогда, Николай Васильевич, не думал, что вы запомните чуть ли не слово в слово написанные мною строки...

— Хорошее, Сергей Тимофеевич, всегда остается в памяти.

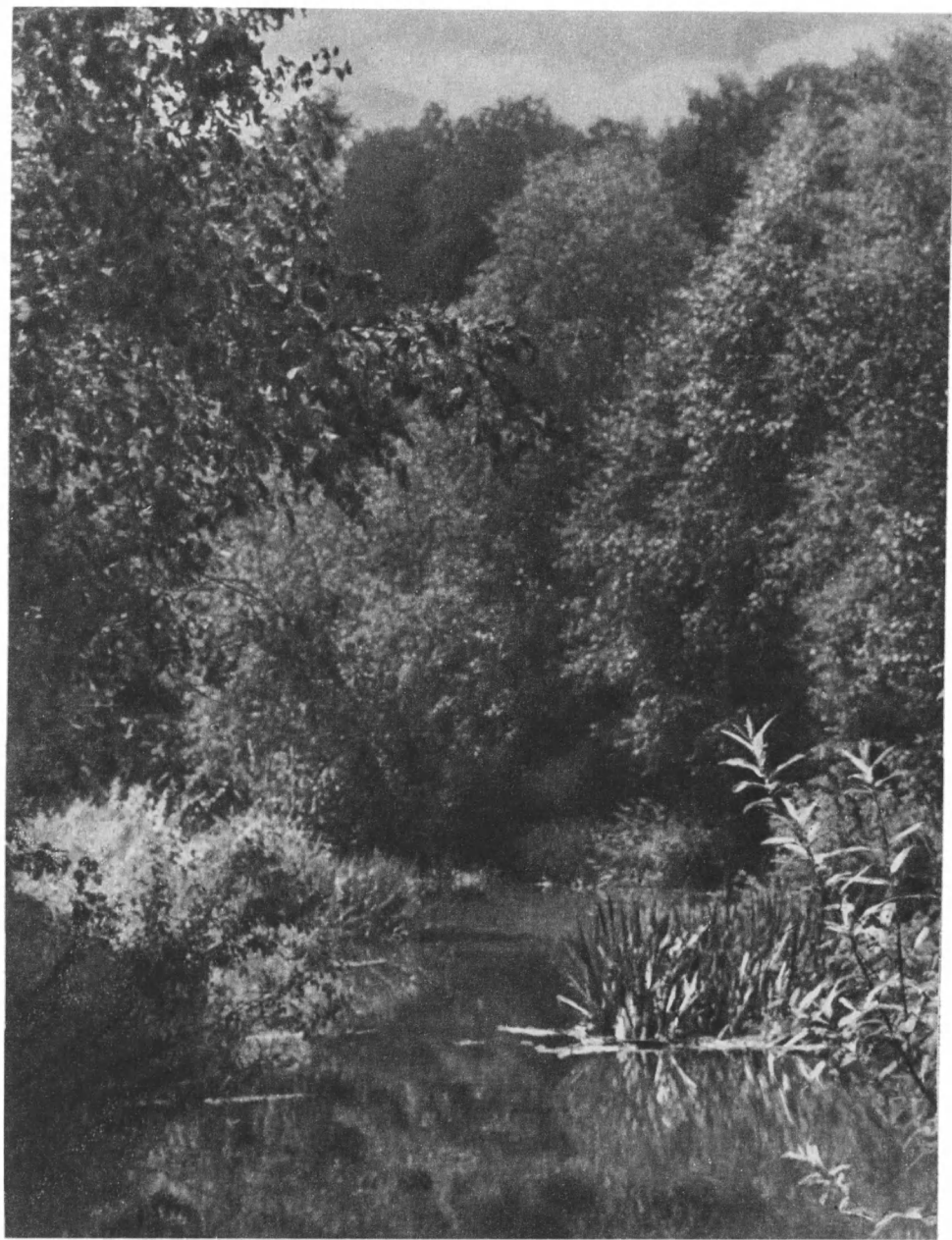
Завязалась беседа о творчестве писателя.

Аксаков говорил, что описание людей, птиц, рыб — всего божьего мира — должно быть достоверным и точным. Нужно писать только то, что сам видел и знаешь. Улыбаясь, Аксаков закончил:

— Пробовал писать вымышленное — получалась такая дрянь, что самому стало и смешно, и стыдно...

Среди беседы Гоголь сказал, что хочет съездить в лавру:

— Поеду к Троице!



Река Воря в Абрамцево.

— Да что вы торопитесь, еще успеете!..— убеждал его Аксаков.— Нынче дожди размыли дорогу, проехать будет трудно... Ведь знаете, у Хотькова — глина, завязнете.

Вера не сводила глаз с Гоголя. Она всегда была его ярой поклонницей. Религиозный экстаз Гоголя приводил в восторг Веру, неистово, фанатично преданную церкви.

«Неужели заглох или, вернее, насильственно придушен самим Гоголем его талант? — недоумевал Константин, у которого отношения с Гоголем были сложными, натянутыми.— Одно ясно: жизнь писателя раскололась надвое».

Сергею Тимофеевичу стоило больших усилий скрыть свое душевное состояние. В нем все еще была сильна тревога за судьбу Гоголя-писателя.

«Вы ходите по лезвию ножа! — писал ему в Рим Аксаков.— Дрожу, чтоб не пострадал художник!..» Гоголь на это ответил тогда шуткой, уверяя Аксакова, что все его волнения не больше и не меньше, как «просто дело чёрта». Аксаков после такого ответа долго не писал Гоголю.

Но эта перепалка в письмах была лишь одним из эпизодов напряженной, упорной борьбы, которую Аксаков вел в течение шести лет, стремясь спасти Гоголя от душевного недуга, вырвать из окружения мистиков, вернуть на путь реалистического искусства. Аксаков напрягал всю свою энергию, всю страсть художника, чтобы отстоять Гоголя.

Борьба Аксакова за Гоголя — за великого «писателя действительно-сти» — одна из знаменательных страниц в истории русской литературы.

...Сейчас за обеденным столом, рассказывая всякие были и небылицы, Аксаков испытывал чувство, какое бывает, когда находишься у постели больного, очень дорогого тебе человека и боишься показать свою тревогу, хочешь уберечь от догадки, что о нем тревожатся. Гоголь это понимал, и росла его настороженность.

Глядя теперь на осунувшееся, постаревшее лицо Гоголя, Аксаков готов был все простить ему, все забыть. Ведь он видел в нем гениального художника, гордость России. Каждое отступление Гоголя от пути великого писателя, выразителя правды жизни, остро отзывалось в Аксакове, вызывало боль. Аксаков любил Гоголя беззаветно, всей душой...

«Я сделаю все, что может сделать друг для друга, брат для брата и человек с поэтическим чувством, теряющий великого поэта...» — писал ему Аксаков.

Впервые он увидел Гоголя летом 1832 года. Проездом из Петербурга в свою родную Васильевку Гоголь остановился в Москве. К Аксаковым, жившим тогда в доме Слепцова на Сивцевом Вражке, приехал Погодин и с ним Гоголь. Сергей Тимофеевич играл с приятелями в четверной бостон. Собрались запросто. Аксаков был без фрака.

— Вот вам Николай Васильевич Гоголь! — сказал Погодин и стал знакомить.



В Гоголевском зале музея-усадьбы «Абрамцево».

К тому времени вышли в свет две части «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Гоголь был уже широко известен.

Сближения между Аксаковым и Гоголем в день их первого знакомства не произошло. Гоголь держался неприветливо, небрежно и как бы свысока. Удивляла его щеголеватая внешность. Не сблизили их и следующие встречи. Гоголь сухо принимал похвалы «Вечерам на хуторе близ Диканьки». «Вообще в нем было что-то отталкивающее, не допускавшее

меня до искреннего увлечения и излияния, к которым я способен до излишества», — рассказывал потом Аксаков. Но уже в эти первые дни он почувствовал своеобразие и остроту гоголевских мыслей.

Побывав вместе у Загоскина, они дорогой беседовали о нем и заговорили о театре. Гоголь заметил, что Загоскин «не то пишет, что следует, особенно для театра», и высказал мысли о разлитом всюду в жизни комизме, которого люди, «живя посреди него», не замечают. «Если художник перенесет его в искусство, на сцену, то мы же сами над собой будем валяться со смеху и будем дивиться, что прежде не замечали его». Видно было, что русская комедия сильно занимала Гоголя и у него на нее свой взгляд.

Театр и драматургия глубоко интересовали тогда Аксакова. В то время он был уже известен в Москве как видный театральный критик. Его авторитет в вопросах сценического искусства был очень высок. Под псевдонимом «Любитель русского театра» Аксаков часто выступал со статьями о театре и рецензиями в ряде журналов и альманахов: в «Московском вестнике», «Галатее», «Телескопе», «Молве». В его рецензиях всегда было глубокое понимание сцены, тонкое знание театрального искусства и несомненное тяготение к реализму. Аксаков отвергал холодную напыщенную театральность, декламаторство и бутафорское великолепие. Он искал на сцене жизнь, ее правду, ее психологическую глубину. Эти новые принципы театрального искусства несли на сцену такие актеры, как Щепкин и Мочалов. Это было время, когда начиналась борьба за демократизацию театра. Вслед за Аксаковым в борьбу вступил молодой Белинский. В тридцатые годы благодаря комедиям Гоголя «Женитьба» и «Ревизор» театральный репертуар был обновлен. Вместе с Белинским Гоголь заложил основы нового русского реалистического театра. По своим взглядам на театр Аксаков был очень близок к Гоголю и Белинскому.

Впоследствии Гоголь высоко оценил режиссерские способности Аксакова, поставившего на московской сцене «Женитьбу» и «Игроков».

Все это делает понятным огромный интерес Аксакова к появившемуся «Ревизору» Гоголя.

Надолго запомнили в доме Аксаковых необычайную ночь, связанную с «Ревизором».

Давно шли разговоры о новой пьесе Гоголя. Было известно, что 19 апреля 1836 года она была сыграна в Петербурге, в Александринском театре, что царь был на первом представлении пьесы. Комедия одновременно с ее появлением на сцене вышла из печати. Издана она была тоже в Петербурге. В Москве ее еще не было.

«Ни с чем нельзя сравнить нашего нетерпения прочесть «Ревизора», — писал в своих воспоминаниях Аксаков. И тут же рассказал о том, что «прочел его в первый раз самым оригинальным образом».

Как-то поздно заигравшись в Английском клубе, он получил у швейцара записку из дому. Ему писали, что некий полковник, проезжая че-



Уголок Гоголевского зала в музее-усадьбе «Абрамцево».

рез Москву, привез Федору Николаевичу Глинке печатный экземпляр «Ревизора» и оставил его до шести часов утра. Глинка прислал этот экземпляр Аксаковым. И теперь вся семья дожидается приезда Сергея Тимофеевича, чтобы начать чтение.

Аксаков в карете помчался домой. Был час ночи. Фонари уже не горели. Не хватало гарного масла. За окном кареты промелькнул Страстной монастырь, потянулась Тверская, за ней Охотный ряд, Большой

театр... В темноте доехали до Старой Басманной, где жили тогда Аксаковы.

Дома все были в сборе. Никто не спал. Сидели в гостиной.

«Я,— пишет Аксаков,— не мог в первый раз верно прочесть «Ревизора», но, конечно, никто никогда не читал его с таким увлечением, которое разделяли и слушатели».

Как известно, не все тогда так высоко оценили комедию Гоголя. В Петербурге Гоголю пришлось много пережить. Огорченный, расстроенный теми толками, которые пошли вокруг «Ревизора» в великосветском обществе, среди сановного дворянства, потрясенный собственными раздумьями и сомнениями, Гоголь распродал с уступкой все экземпляры своей пьесы и покинул Россию.

Он ехал в чужие края предполагать все то, что пришлось пережить на родине. Гоголь уехал, чтобы писать свое новое произведение — «Мертвые души», которые были завещаны ему Пушкиным. Он удалился за границу, чтобы там, издалека, лучше увидеть и постигнуть Русь, сказать о ней правду.

В России оставался Пушкин, который для него был выше всех, мнением и словом которого он дорожил более всего. В России оставался и Белинский, назвавший Гоголя главою литературы, главою поэтов. Дома, в Васильевке, жила Мария Ивановна Гоголь, перед которой сын чувствовал себя в долгу, жили сестры. На родине оставались друзья. Среди них были Аксаковы.

За границей Гоголь поселился в Италии, в Риме. Здесь ему лучше всего писалось.

Via Felice — улица Феличе в Риме, или, как теперь ее называют, улица Систина, где жил Гоголь, и дом под номером 126 известны в наше время не только приезжающим русским туристам, но всему миру. Старый каменный дом. На серой стене у окон второго этажа мраморная доска. На ней по-русски и по-итальянски написано: «Здесь жил в 1838—1842 гг. Николай Васильевич Гоголь. Здесь писал «Мертвые души».

С благоговением входят в квартиру. Следов былого уже нет. Здесь живут чужие люди. Другая утварь, другие вещи...

И лишь окна — «два окна с решетчатыми ставнями изнутри» — воскрешают в памяти комнату Гоголя, описание которой оставил нам современник Гоголя, его приятель Павел Васильевич Анненков.

«Комната Николая Васильевича была довольно просторна, с двумя окнами, имевшими решетчатые ставни изнутри,— писал Анненков.— Обок с дверью стояла его кровать, посередине большой круглый стол, узкий соломенный диван, рядом с книжным шкафом, занимал ту стену ее, где пробита была другая дверь. Дверь эта вела в соседнюю комнату...» В ней и жил Анненков. В комнате Гоголя Анненков переписывал под диктовку Николая Васильевича первый том «Мертвых душ»...

В Риме на Via Condotti в доме номер 86 до сих пор существует кафе Греко. В нем есть столик, за которым сживал Гоголь.

Еще до знакомства с «Мертвыми душами» Аксаков видел в Гоголе гениального писателя. Гоголь, в свою очередь, очень дорожил мнением Аксакова о своих произведениях. В 1842 году Гоголь прочитал ему по главам весь первый том поэмы. Ю. Ф. Самарин рассказывал, что, читая, Гоголь постоянно вглядывался в лицо Сергея Тимофеевича, ища в нем выражения сочувствия или неодобрения. О первой главе, прочитанной Гоголем, Аксаков писал: «Это был восторг упоения, полное счастье, которому завидовали все, кому не удалось быть у нас во время чтения».

Первый том «Мертвых душ» вышел в свет весной 1842 года. Гоголь, приехавший из-за границы для его издания, уехал сначала в Петербург, а затем за границу. Все лето после отъезда Гоголя в семье Аксаковых, живших тогда под Москвою, в Гаврилково, вновь и вновь перечитывали поэму Гоголя, открывая в ней все новые достоинства. Сергей Тимофеевич писал Гоголю, что «Мертвые души» нельзя понять с первого раза. «Это мир божий... Можно ли одним взглядом его рассмотреть?..»

«Мертвые души» быстро распространились по России. Поднялся горячий спор и толки о поэме Гоголя. Люди, узнававшие в героях Гоголя себя, возмутились против писателя, якобы оскорбившего своей поэмой честь России. Аксаков по просьбе Гоголя сообщал ему отзывы о книге.

Аксакову казалось, что глубже всех понял «Мертвые души» его сын Константин, написавший небольшую брошюру «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души». «Признаю торжественно,— писал Сергей Тимофеевич,— превосходство эстетического чувства в моем Константине. Он понял вас более меня и более всех...» Константин Аксаков восторженно хвалил поэму, считал ее по «акту творчества» равной творениям Гомера и Шекспира, однако он писал не о сатирической, разоблачающей силе поэмы Гоголя. Он увидел в ней апофеоз России в чисто славянофильском его толковании. Белинский выступил против этой брошюры. Началась горячая, страстная полемика. Вокруг брошюры Константина Аксакова разразилась буря. Сергей Тимофеевич заявлял о своей солидарности с сыном. Но его высказывания о «Мертвых душах» говорят о том, что он понимал поэму Гоголя гораздо глубже, чем его сын, и был ближе к воззрениям Белинского. В отношении Аксакова к брошюре сына сказалась, правда, известная ограниченность его общественно-исторических воззрений, которая мешала ему понять всю принципиальную разницу во взглядах на «Мертвые души» Белинского и его сына Константина.

Ну, а Гоголь? Как относился он сам к толкам о своей поэме? Брошюра Константина Аксакова испугала Гоголя не столько ее ложной идеей, сколько восторженной приподнятостью тона, которая вызывала бурю возражений. Возмущение и злоба на сочинителя брошюры обрушились и на творца поэмы. И с этой точки зрения Аксаков горячо осуждал появление брошюры сына. Он писал об этом Гоголю: «Я сам знаю, что это ошибка, и немаловажная: с его стороны написать, а с моей — позволить печатать».

Именно в эти годы в Гоголе произошел душевный надлом. Толчком к нему явилась тяжелая болезнь, которую перенес писатель в конце 1840 и в начале 1841 годов. Именно в эту пору им начали овладевать религиозно-мистические настроения. На свою поэму «Мертвые души» Гоголь смотрел теперь как на создание, внушенное «святой божественной волей». Труд этот казался писателю спасительным подвигом. Еще из-за границы Гоголь писал Аксакову, что его теперь «нужно беречь и лелеять», и просил, чтобы за ним приехали Щепкин и Константин и отвезли его в Россию. Он писал: «Они сделают не бесполезное дело. Они привезут с собой глиняную вазу; конечно, эта ваза теперь вся в трещинах, довольно стара и еле держится, но в этой вазе теперь заключено сокровище, стало быть, ее нужно беречь».

Возвращаясь в Россию, Гоголь не думал, что вскоре решится ее снова покинуть. Но сразу же по выходе первого тома «Мертвых душ» опять уехал за границу. Ехал он писать второй том, после окончания которого решил совершить паломничество в Иерусалим, «ко гробу господню». Перед отъездом он явился к Аксаковым «с просветленным лицом», с иконой и просил благословения у Ольги Семеновны Аксаковой.

Все эти новые настроения Гоголя пугали и огорчали Сергея Тимофеевича. Он считал их «порождением болезненного состояния духа и тела». На религиозную экзальтацию Гоголя он смотрел с недоверчивостью. Решение Гоголя о новом отъезде за границу было для Аксакова неожиданным и очень встревожило его.

«Прочту ли я остальные части «Чичикова»? Доживу ли я до этого счастья? Кроме моего семейства, у меня нет другого столь высокого интереса в остальном течении моей жизни, как желание и надежда прочесть два тома «Мертвых душ»,— писал он Гоголю.

Аксаков все более убеждался в том, что Гоголю-писателю более всего угрожает его религиозное, или, как говорил Аксаков, «нравственно-наставительное», направление, его убеждение, что «должен поучать других», что это «полезнее его юмористических сочинений». Гоголевский наставительный тон был неприемлем для Аксакова. Причины его появления Аксаков видел в оторванности Гоголя от живой русской действительности, а также в его светских связях за границей. «Все это,— писал Аксаков,— наделала продолжительная заграничная жизнь вне отечества, вне круга приятелей и литераторов, людей свободного образа мыслей, чуждых ханжества, богомольства и всяких мистических суеверий».

Роковую роль в жизни Гоголя, по мнению Аксакова, сыграли его светские приятели.

Кто же были они, эти мистики, религиозные изуверы, все эти «ханжи, примиряющиеся с подлою жизнью своею», о которой говорил Аксаков?

Это — великосветская свита Гоголя.

Граф Александр Петрович Толстой — бывший одесский губернатор, а потом обер-прокурор святейшего синода. Ретроград и изувер. Это у



Обложка книги «Мертвые души», рисованная Н. В. Гоголем. 1842 г.
Музей-усадьба «Абрамцево».

него в доме поселился в 1848 году вернувшийся из-за границы Гоголь. Здесь он сжег второй том «Мертвых душ» и умер. Здесь завершилась трагедия писателя, тайна которой не разгадана и поныне.

Графиня Луиза Карловна Виельгорская и ее дочь Софья Михайловна Сологуб, у которых Гоголь жил в Ницце.

Екатерина Владимировна Новосильцева, урожденная графиня Орлова, иступленно преданная церкви, окруженная попами, богомольцами, кликушами, утопавшими в слезах и восхищении от новоявленного пророка — Гоголя.

И, наконец, весь «скотный двор», как метко назвал Аксаков известного реакционера — литератора Федора Глинку, его жену Евдокию и группирующихся вокруг них мракобесов.

Все они создали вокруг Гоголя атмосферу поклонения, призывали его к отречению от дел мирских во имя высшей христианской добродетели.

В имении под Калугой, где жила жена калужского губернатора, фрейлина двора Николая I Александра Осиповна Смирнова-Россет, Гоголя встречали как великого проповедника. В салоне Смирновой-Россет неистовое служение христианству и глубокий мистицизм сочетались с утонченной культурой, поклонением красоте, поэзии, музыке. Сама Александра Осиповна писала стихи, встречалась с Пушкиным, Жуковским. В ее альбоме были стихи Гете, которые он собственноручно написал ей, автограф Гумбольдта. За границей Гоголь постоянно встречался со Смирновой. Находясь в России, он часто приезжал к ней в имение, делился с ней творческими замыслами и находил поддержку своим мыслям о самоотречении.

Душевное состояние Гоголя все ухудшалось. Аксаков в ответ на свои дружеские предупреждения о грозящей Гоголю опасности получал от него то гневные письма, то оскорбительные шуточные отписки.

В 1846 году появилась, чуть ли не одновременно в трех изданиях — в «Московских ведомостях», «Современнике» и в «Москвитянине» — статья Гоголя «Об «Одиссее», переводимой Жуковским». Восторженно, тоном проповедника писал Гоголь о благородном влиянии патриархальных нравов героев «Одиссеи» на современное общество. В этом выступлении Гоголя Аксаков снова с болью увидел гибельное для писателя «нравственно-наставительное» направление.

В том же году вышло в свет второе издание «Мертвых душ» с предисловием Гоголя, написанным, по словам Белинского, в тоне «неумеренного смирения и самоотрицания». В предисловии Гоголь указывал, что многое в «Мертвых душах» было описано им неверно, «потому что я не мог узнать всего: мало жизни человека на то, чтобы узнать одному и сотую часть того, что делается в нашей земле».

Спустя некоторое время произошло еще одно событие, которое полностью подтвердило опасения Аксакова.

К бенефису Щепкина Гоголь прислал «Развязку «Ревизора». В ней он дал абстрактную трактовку героев комедии, заменив живые образы



Абрамцево. Старая сосна, возле которой любил сидеть Гоголь.

аллегориями. Узнав о «Развязке «Ревизора», Щепкин вспылал и со свойственной ему горячностью тут же написал Гоголю: «Нет, я их вам не дам, не дам, пока существую, после меня переделывайте хоть в козлов».

Тревога и негодование Аксакова достигли крайнего предела, когда он узнал, что в Петербурге должна выйти в свет книга Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». Изданием этой книги, по поручению Гоголя, тайно от всех друзей, занимался Плетнев. Узнав об этом, Аксаков писал сыну Ивану: «Увы, исполняется мое давнишнее опасение! Религиозная восторженность убила великого художника и даже сделает его сумасшедшим. Это истинное несчастье, истинное горе».

Аксаков не пожелал остаться в стороне, он слишком высоко ценил Гоголя. Он послал письмо Плетневу, в котором горячо просил не печатать книги «Выбранные места из переписки с друзьями», а также «Предупреждения» к пятому изданию «Ревизора», как и новой «Развязки» комедии. Аксаков считал, что если все это будет обнародовано, то сделает Гоголя «посмешищем всей русской земли».

В своем взволнованном письме к Плетневу он требовал приостановить издание «Переписки»: «...неужели мы, друзья Гоголя, спокойно предадим его на поругание многочисленным врагам и недоброжелателям. Если милосердный бог возвратит Гоголю прежде его духовное и телесное здравие и он спросит нас: «Друзья мои, я был болен, но где же был ваш рассудок?» — что мы станем отвечать ему?»

Со всей откровенностью и прямотой Аксаков написал обо всем, что думал, и самому Гоголю. Из всех близких к Гоголю Аксаков был единственным человеком, который сказал ему все, что он думал о нем, и осудил его. Он стремился всеми мерами предотвратить появление книги.

Но ничего не помогло — книга вышла.

Книга Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» вызвала возмущение передового русского общества, выразителем которого стал Белинский. В книге говорилось о незыблемости существующего строя, оправдывалось величайшее зло того времени — крепостное право, а вместе с ним и весь николаевский режим «кнута и невежества», вся система угнетения народа. «Я думал,— писал Аксаков о Гоголе,— что вся Россия даст ему публичную оплеуху, и потому не для чего нам присоединять рук своих к этой пощечине; но теперь вижу, что хвалителей будет много...»

«Мы не можем молчать о Гоголе, мы должны публично порицать его», — настаивал Аксаков, и он открыто выступал, писал, разоблачал гоголевскую «Переписку». Более всего в книге Гоголя Аксакова возмутили его лживые утверждения о политическом строе России, о самодержавии, о помещике и крестьянине. «Я не мог без горького смеха слушать его наставления помещикам, как надобно им пахать, жать и косить впереди своих крестьян; как заставлять их прикладываться к некоторым словам священного писания, тыкая в них пальцем, как чинить суд и расправу и как уверить умный русский народ, что помещик для

того только справляет барщину, чтобы они в поте лица съедали хлеб свой...» — писал Аксаков о «Переписке» сыну Ивану.

Несмотря на нежную отцовскую любовь и привязанность к Ивану, Аксаков, получив от него письмо с положительной оценкой гоголевской «Переписки», с гневом отвергает суждение сына. Душевное состояние Аксакова и всей семьи в эти дни ярко выразила тогда Ольга Семеновна Аксакова, которая тотчас ответила сыну: «С изумлением, разиня рты и поднявши руки, слушали мы письмо твое о книге Гоголя. Вот тебе, Ванечка, семейная картина при чтении твоего письма; больше ничего не скажу, отец так много и сильно написал, что прибавлять уже не стоит...»

Со всей силой проявились тогда в Аксакове его непримиримость ко всякой лжи, его стремление к правде. Он открыто выступал против Гоголя, считая, что в его книге — явное искажение действительности. Он порвал в это время многие старые дружеские связи с теми, кто стал на сторону ханжей и изуверов, поднявших неистовые вопли в защиту Гоголя. В это тревожное для Аксакова время он остался верен себе, найдя силы противостоять натиску со стороны лагеря реакционеров. Недаром так злобно откликнулась из того лагеря Смирнова-Россет, написавшая Гоголю об Аксакове: «Ненависть к власти, к общественным привилегиям, к высокому рождению и богатству... — вот начало этих господ. Не коммунизм ли это со всеми своими гадостями, то есть коммунизм Жорж Занда?»

Непримиримая позиция Аксакова привела его к разрыву с Гоголем. 3 октября 1847 года Аксаков писал: «Пора нам оставить друг друга в покое».

* * *

Все, что произошло после выхода в свет гоголевских «Выбранных мест из переписки с друзьями» и в особенности после известного письма Белинского, разоблачившего реакционную сущность книги, потрясло Гоголя. Он растерян. Что дальше? Как жить?

Он потянулся к Аксакову, надеясь найти нравственную поддержку у старого друга хотя бы «из милосердия, которое должно быть свойственно всякой доброй и сострадающей душе», как писал ему Гоголь. Еще до полного разрыва с Гоголем Аксаков в июле 1847 года получил из Франкфурта от него письмо, в котором раскрылась вся глубина произошедшей трагедии.

«Ради самого Христа, войдите в мое положение,— писал Гоголь.— почувствуйте трудность его и скажите мне сами: как мне быть, как, о чем и что могу я теперь писать?» «...Как у меня еще совсем не закружилась голова, как я не сошел еще с ума от всей этой бестолковщины, этого я и сам не могу понять! Знаю только, что сердце мое разбито и деятельность моя отнялась». «...Друг мой! Я изнемог!» — взывает к Аксакову Гоголь. «Любовь, более чем когда-либо прежде, теперь доступ-

нее душе. Если я люблю и хочу любить даже тех, которые меня не любят, то как могу я не любить тех, которые меня любят?»

В 1848 году Гоголь едет в Иерусалим. Оттуда — на родину, в свою Васильевку. Переписка Аксакова и Гоголя становится все теплее. Снова зазвучали признания в любви и дружбе.

Приехав в Москву, Гоголь тотчас хотел видеть Аксакова, но его не было в городе, он жил в Абрамцеве. Вскоре свидание состоялось. Дружба, проявившаяся уже в письмах, была закреплена. Но душевная тревога Аксакова не проходила: жив ли талант Гоголя?

В доме Аксаковых в Москве снова начались литературные чтения с участием Гоголя. Он прочел двенадцать песен «Одиссеи», переведенных Жуковским. Стали обсуждать прочитанное. Константин резко критиковал Жуковского. Разгорелся спор. Гоголь обиделся и ушел. Но вскоре снова стал часто бывать у Аксаковых.

Весною 1849 года Гоголь отпраздновал день своего рождения в доме Аксаковых. Предварительно он прислал шуточную записку, чтобы придать их встрече интимный характер: «Имеют сегодня подвернуться вам к обеду два приятеля: Петр Михайлович Языков и я, оба греховодники и скоромники. Упоминаю об этом обстоятельстве по той причине, чтобы вы могли приказать прибавить кусок бычачины на одно лишнее рыло».

За обедом Гоголь был весел, много шутил.

Взаимная дружба все укреплялась. Но настороженность Аксакова не проходила. Шли дни, недели, месяцы, а Гоголь не предлагал Аксакову, как это всегда бывало прежде, послушать отрывки из своего нового произведения, хотя знал, что Аксаков ждет этого. До Аксакова доходили слухи, что где-то Гоголь читал из второго тома «Мертвых душ». Именно это волновало и обижало Аксакова.

Этим и объясняется нынешнее напряженное состояние всей аксаковской семьи. Для Сергея Тимофеевича писательский гений Гоголя был превыше всего. Сохранить Гоголя как великого художника — цель, достижению которой он посвятил много лет своей жизни.

Гоголь знал о чувствах Аксакова, знал, что никто так страстно, с такой верой в его талант не ждет от него новых произведений, как Аксаков. Но ему было очень трудно писать, и он избегал разговоров об этом.

* * *

После обеда Гоголь поднялся наверх, в комнату, где он расположился.

Сергей Тимофеевич и Константин прошли в кабинет. Долго не клеился разговор. Отец молчал, сын ходил по комнате. В столовой было тихо. Слышалось лишь, как птицы возятся в клетке. Особенно шумел неугомонный дрозд.

— Привез? — спросил Аксаков.



Вид с террасы.

— Не знаю.

— Не спрашивал?

— Обидится!..

— Почему? Что тут особенного? Сказал бы: «Мы наслышаны, что вы читали из второго тома «Мертвых душ» в Калуге, у Смирновой. Вот и нам интересно»... Или что-нибудь в этом роде.

— Не такие у меня с ним отношения, чтобы запросто заговорить...

— Пеняй на себя.

— Но ведь моя критика правдива...

Аксаков промолчал, а затем сказал:

— Понимаешь ли ты, что для меня значит второй том «Мертвых душ»? Он должен показать нам, остался ли Гоголь глашатаем правды, художником, раскрывающим перед людьми действительность, или он погряз в мистицизме.

Константин подошел к столу, заложил за спину руки.

— С какой злобой он оклеветал себя! Себя и других. Всю русскую литературу,— продолжал Аксаков.— Как мог он от всего отречься! Не иначе, как здесь у него неладно.— И Аксаков ткнул себя пальцем в лоб.— Впрочем, как я говорил Погодину, мы не можем судить о Гоголе по себе: может быть, у него нервы вдесятеро тоньше наших и устроены как-нибудь вверх ногами?

— А вот, отесенька, Белинский другого мнения. Я читал его письмо к Боткину. До сих пор не могу забыть это письмо. Белинский писал, что последняя книга Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» — не заблуждение, а артистически рассчитанная подлость, что Гоголь — «это Талейран¹, кардинал Феш², который всю жизнь обманывал бога, а при смерти надул сатану». Вы подумайте, отесенька, это писал не кто иной, как Белинский, назвавший в свое время Гоголя надеждой, честью и славой русской литературы...

— Нет, я верю в искренность Гоголя, и поэтому то, что произошло, страшнее. Да, Гоголь, бывало, иногда притворялся, но это касалось мелочей. Порой это просто была шутка. Вроде того, что он у нас проделал при гостях.

Однажды у Аксаковых собрались гости. Им было обещано, что Гоголь прочтет свое новое произведение. Приехал Гоголь, сел за стол и вдруг стал икать.

— Да как икал,— рассказывали потом,— раз, другой, третий. У Щепкина даже щеки дрогнули. А Гоголь как ни в чем не бывало говорит: «Что это у меня? Точно отрыжка...»

¹ Талейран (1754—1838) — французский дипломат времен Наполеона I, известный своей беспринципностью и двуличием. После падения Наполеона Талейран продолжал оставаться министром иностранных дел, ревностно служа Людовику XVIII.

² Феш (1763—1869) — престарелый кардинал, дядя Наполеона, пользовался во Франции дурной славой политического интригана и бесчестного дельца.

Оказалось, что этими словами начинался отрывок из комедии «Тяжба», который он прочитал.

Но это было давно, тогда Гоголь был совсем другим.

— «Переписка» Гоголя — сплошная ложь! — сказал Константин. — Я так и писал ему в Васильевку. Он и злится теперь...

— Книга вредна, — прервал отец. — Гоголь не устыдился написать, что нигде нельзя говорить так свободно правду, как у нас... Это у нас-то?!

С глубокой горечью, терзаниями, сомнениями думал Аксаков о Гоголе. Неужели прав Белинский, называя Гоголя Талейраном? Неужели Гоголь притворяется, обманывает? Да, он, по-видимому, отчасти и Талейран. Но он и пасечник Рудый Панько, и мученик христианства, и великий писатель с бессмертной славой.

Аксаков снял зеленый козырек со лба, провел ладонью по глазам.

Константин ушел.

Сергей Тимофеевич остался один.

Долго просидел Аксаков в глубоком раздумье, потом поднялся и распахнул окно. В комнату ворвался терпкий запах ранней осени. Хлынул поток солнца. Шумели птицы под окном...

Прочь мелочи и дрязги! Да восторжествует искусство!

* * *

Гоголь усиленно работал в отведенной ему комнате. Писал, переписывал, правил рукопись, снова писал. Никто не заходил, чтобы не мешать.

Покой Гоголя оберегался в доме всеми — от мала до велика. Бдительно следил за этим Константин.

О привычках Гоголя, многих его странностях рассказывал Аксаковым приезжавший в Абрамцево Дмитрий Михайлович Погодин — сын известного историка, литератора, друга аксаковской семьи Михаила Петровича Погодина.

Гоголь часто и подолгу жил в доме Погодина на Девичьем Поле. Много там работал. Никого не пускал к себе. За исключением детей, которых любил и баловал.

-- Можно к вам? Не надо ли чего? — стуча в дверь, спрашивали малыши.

— Войдите. Но сидеть смирно.

Дети, притаившись, устраивались в углу дивана.

В комнате жара, а Гоголь сидит в шерстяной фуфайке. Пишет. А то бросит и берется вязать на спицах шарф. Потом — снова за перо. Писал Гоголь мелким, бисерным почерком, на маленьких листках бумаги. Напишет, прочтет вполголоса и либо рвет, либо бросает на пол. Дети по его указанию подбирали с пола листки и раскладывали на столе.

Много подробностей о жизни Гоголя знал и рассказывал Дмитрий

Погодин. Он впоследствии написал свои воспоминания о Гоголе. Записки Погодина не были закончены — он умер молодым.

...Обеды в Абрамцеве были веселые, шумные. Особенно в воскресенье. Гоголь с серьезным видом доказывал, что в праздники все должно отличаться от будней: сливки к кофе должны быть гуще, обед очень хорош, за обедом должны быть председатели, прокуроры и всякие этикие важные особы и самое выражение лиц должно быть торжественным.

Днем — прогулки. Гуляли по липовым аллеям парка, в березовой роще на косогоре. Ходили за грибами.

А вечером, по установившейся традиции, в гостиной за круглым столом читали вслух. Гоголь читал Гомера.

Литературными интересами жила вся семья Аксаковых. Не только читали и обсуждали прочитанное, но каждый что-нибудь сочинял. Долгое время в семье Аксаковых издавался рукописный журнал «Развлечение». Вот, например, содержание журнала № 2:

Изящная словесность — Константин Аксаков.

20 сентября — Сергей Аксаков.

Кастильский рыцарь — Константин Аксаков.

Сарра (перевод с французского) — Надежда Аксакова.

Царская невеста — Надежда и Любовь Аксаковы.

Смесь (18 русских пословиц) — Мария Аксакова.

Гоголь собирался съездить в Троице-Сергиеву лавру, о чем не раз говорил, но все откладывал. На сей раз он явился к завтраку с твердым решением тотчас же, с утра, во что бы то ни стало ехать. Только было собрался, как хлынул проливной дождь. Оставалось снова отложить поездку.

— Погода, конечно, дурная, а я все-таки считаю, что вам следует поехать к Троице, — сказала Вера.

Ольга Семеновна даже руками замахала:

— Как же можно в такую непогоду от дома отлучаться?

Гоголь призадумался.

— Нет, Ольга Семеновна, раз Вере Сергеевне хочется, чтобы я поехал, значит, нужно ехать, — ответил он.

Дождь шел весь день. К обеду Гоголь не вернулся и явился только к восьми часам вечера, когда вся семья была в гостиной. Он был радостно возбужден.

— А я сердилась на Веру, что она вам советовала ехать! — сказала Ольга Семеновна.

— Напротив, я очень благодарен Вере Сергеевне, — ответил Гоголь.

После чаепития в столовой снова вернулись в гостиную. Гоголь сел на свое излюбленное место. Он был неспокоен, несколько раз хватался за карман, словно пытался вынуть что-то. Константин, подремывая, развалился в кресле. Гоголь подошел к нему:

— Прочтите что-нибудь... Ну хотя бы «Мертвые души».

Константин вскочил с кресла:



Тропинка вдоль Вори.

— Сейчас принесу книгу, она наверху у меня.

— Зачем? Не надо...

Гоголь вытащил из кармана толстую рукопись и сел за стол.

— Я вам прочту главу из второго тома...

В гостиной засуетились. Все придвинулись к столу.

Сергея Тимофеевича охватила тревога. Он не смог подавить волнение. Аксаков знал, что Гоголь работает над вторым томом «Мертвых душ», находясь в тяжелом, болезненном состоянии. Стремление к христианскому смирению все возрастало в нем. Аксакову было известно, как изступленно молился Гоголь, садясь за работу над вторым томом. Он ездил в Иерусалим, чтобы, стоя у «гроба господня», вымолить благословение. Но Аксаков знал также и о письме Плетневу, в котором Гоголь писал, что никогда не был ему так нужен творческий труд, как в нынешнее время. И другое письмо, уже непосредственно ему самому, Аксакову: Гоголь писал из-за границы, что у него «слово онемело». А что, если это так, если сейчас, здесь за столом, станет очевидна гибель художника?..

Два года назад, в самый разгар ожесточенной переписки Аксакова с Гоголем, в результате которой наступил разрыв их дружеских отношений, Аксаков был твердо убежден, что Гоголь не в состоянии продолжить «Мертвые души». В письме к сыну Ивану 3 апреля 1847 года Сергей Тимофеевич писал: «Второму тому «Мертвых душ» я не верю: или его не будет, или будет дрянь. Добродетельные люди — не предметы для искусства. Эта задача невыполнимая».

И вдруг — на столе рукопись. Начало второго тома! За столом Гоголь. Еще минута — и начнется чтение. Как не волноваться Аксакову?!

Гоголь стал читать. Он читал первую страницу второго тома:

— «Зачем же изображать бедность, да бедность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства? Что ж делать, если уже такого свойства сочинитель, и, заболев собственным несовершенством, уже и не может изображать он ничего другого, как только бедность, да бедность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства. И вот опять попали мы в глушь, опять наткнулись на закоулок.

Зато какая глушь и какой закоулок!»

Гоголь читал мастерски. Его потом сравнивали с Островским, читавшим свои пьесы без драматических эффектов, со строгой простотой, и с Писемским, который читал, как актер. Гоголь читал проще Островского и выразительнее, ярче, чем Писемский. Произношение было у Гоголя чистое, почти без украинского акцента, он лишь протяжно произносил букву «о».

Время близилось к полуночи. Уже давно прошел срок — 11 часов, когда Гоголь ложился спать. Чтение продолжалось около полутора часов. Под конец Гоголь заметно устал. Разговоров о прочитанном не было, кроме нескольких небольших реплик.

Гоголь молча сложил рукопись и ушел к себе наверх.

Аксаков подошел к Константину. Положив руку на плечо сына, Сергей Тимофеевич сказал:

— Все страхи позади. Отстояли Гоголя...

— Надолго ли? — возразил Константин и подумал: «Не ошибся ли отесенька, выдавая желаемое за действительное?..»

Подошла Вера.

— Что бы ни случилось, искусство должно победить! — взволнованно ответил Аксаков.

Свечи в канделябрах стали оплывать. В открытую дверь подул свежий ночной ветерок. Над уснувшим парком взошла луна, и внизу, под косогором, на глади пруда, засиял серебряный свет...

* * *

Долго в эту ночь не мог уснуть Сергей Тимофеевич. Все думалось о новом произведении Гоголя, о только что прочитанной в гостинной главе. Он ворочался в постели, закрывал глаза, пробовал вспомнить последнее ужение в ненастный день у Вори, представить себе неподвижный плавок на воде и мелкую зыбь, но и это не успокоило — не мог уснуть.

Когда был издан первый том «Мертвых душ», Аксакова встревожило обещание Гоголя, что в дальнейших частях поэмы будет изображен некий муж, «одаренный божественными доблестями», или русская девица, «какой не сыскать нигде в мире». Слушая начало второго тома, Аксаков все ждал, что Гоголь начнет подрумнивать действительность, украшать людей, к которым он снова направил Чичикова. Но этого не было. Снова, как и прежде, Гоголь показывал «бедность и несовершенство» жизни, людей «из отдаленных закоулков» государства.

Аксаков с болью вспомнил беспощадные, как смертный приговор, слова Белинского: «Проповедник кнута, апостол невежества». Это было сказано о Гоголе, о его злосчастной «Переписке». Аксакова одолевали тогда тяжелые мысли о судьбе Гоголя. Но то, что он услышал вчера — первая глава второго тома, — это возрождение таланта Гоголя.

Аксаков надел халат и вышел на балкон. На востоке со стороны деревни уже появилась на небе чуть заметная розовая полоска. Стали гаснуть звезды. Близился восход солнца.

«На другой день рано поутру, — пишет Аксаков в своих воспоминаниях, — я пришел наверх к Гоголю, обнял его и высказал всю мою радость. Гоголь сказал мне с светящимся радостным лицом: «Фома неверный!»

Гоголь своей краткой репликой напомнил Аксакову о его страхах и пророчествах, что гибель художника неминуема.

Аксаков был растроган и все говорил:

«Должен покаяться... Я ошибся. Слава богу! Много вытерпел я сердечной скорби от моей грубой ошибки. Но теперь все забыто!»

«Ну, говорите же мне теперь всё, что вы заметили в первой главе»,— настаивал Гоголь.

После небольшого разговора и просьбы написать и прислать ему критические замечания по первой главе Гоголь в тот же день уехал в Москву.

Целую неделю был Сергей Тимофеевич под впечатлением прочитанного Гоголем.

«Талант ваш не только жив, но он созрел. Он стал выше и глубже,— написал Аксаков вдогонку Гоголю.— Я прошу у бога милости дожить до их [«Мертвых душ»] появления при настоящем моем уме и чувствах. Я хочу вполне насладиться не только восстановлением вашей славы, но и полным торжеством вашим на всем прострaнстве Руси...»

Получив письмо, Гоголь в тот же день «прискакал», как говорил Аксаков, в Абрамцево, наняв первую попавшуюся карету и лошадей. «Он был необыкновенно весел или, лучше сказать, светел».

Аксаков с радостью стал подробно разбирать первую главу второго тома, давать свои советы и замечания, всячески помогая Гоголю восстановить, как он писал ему, прежнюю славу на Руси.

Первая глава была переделана Гоголем несколько раз. Указания Аксакова помогли ему исправить ее. Гоголь сам потом признался в этом.

«Когда все вышли в другую комнату,— описывает Аксаков свой разговор с Гоголем спустя пять месяцев,— он наклонился ко мне и спросил: «Ну, а заметили вы, как я все переправил по вашему письму? Теперь вы должны сделать мне свои замечания на второе чтение».

20 января 1850 года Гоголь прочел Аксакову вторую главу.

«Вторая глава несравненно выше и глубже первой. Раза три я не мог удержаться от слез,— пишет Аксаков сыну Ивану.— Такого высокого искусства: показывать в человеке пошлом высокую человеческую сторону, нигде нельзя найти, кроме Гомера».

Наступило лето 1850 года. Вслед за второй главой состоялось чтение третьей главы, за ней и четвертой. И снова Аксаков в восторге от всего прочитанного Гоголем.

Дружба Аксакова и Гоголя снова окрепла.

Аксаков вдохновенно пишет «Записки ружейного охотника», читает Гоголю отрывки. Гоголь упорно работает над вторым томом «Мертвых душ». Идет как бы соревнование писателей, их взаимное творческое обогащение.

Во всех письмах, записях, воспоминаниях той поры у каждого из Аксаковых неизменно отмечается главное: «Гоголь светел».

В Москве Гоголь часто приходит к Аксаковым. Снова чтения, снова шумные обсуждения, споры. И песни, песни... Гоголь напевает песню, одну, другую. Их записывает Наденька. И снова звучит в гостиной Аксаковых грустная, задумчивая песня Украины, встают образы гоголевской Диканьки, Тараса...



Машенька (Марихен) Аксакова.
Портрет написан Верой Сергеевной Аксаковой.

Музей-усадьба «Абрамцево».

Сам Гоголь дышит какой-то умиротворенностью. В разговорах он мечтает: «Как бы все само собой устроилось, все недоразумения, раздоры прекратились». «...Если б каждый человек был полон любви!..»

Сергей Тимофеевич с затаенной грустью пишет свои воспоминания об этом времени: «...Гоголь приезжал к нам в подмосковную, он был необыкновенно со мной нежен и несколько раз, взяв меня за руки, смотрел на меня с таким волнением, которого ни описать, ни забыть невозможно».

26 сентября 1851 года, день рождения Аксакова, праздновался в семье, как всегда, очень шумно и торжественно. К нему готовились за-долго. Это была узаконенная традиция у Аксаковых — свято соблюдать семейные праздники.

Каждый из членов семьи должен был участвовать в этих празднествах своим творчеством. Вера готовила пейзажи, натюрморты. Константин — стихи. В семейных альбомах Аксаковых сохранились стихи Константина, написанные ко дню рождения Марихен.

Мой Марихен так уж мал, так уж мал,
Что из листика сирени
Сделал зонтик он для тени
И гулял.
Мой Марихен так уж мал, так уж мал,
Что, одувши одуванчик,
Сделал он себе диванчик,
Тут и спал.
Мой Марихен так уж мал, так уж мал,
Что из скорлупы ореха
Сделал стул, чтоб слушать эхо,
И кричал!..

Спустя много лет на слова Константина Аксакова Чайковский написал музыку. В 1881 году были изданы ноты детской песенки, где имя Марихен заменено именем «Лизочек»: «Мой Лизочек так уж мал...»

Среди подарков, которые на этот раз Аксаков получил от детей — от Веры натюрморт (грибы), от Нади шапочку, от Сони и Марихен вышивку для подушки, от Оленьки пояс, — было получено письмо от Гоголя. Сообщив, что продолжает работать над вторым томом «Мертвых душ», Гоголь писал:

«От всей души и от всего сердца поздравляю вас, бесценный друг, Сергей Тимофеевич, с днем вашего рождения, весьма жалею, что не с вами сижу за кулебякой, но тем не менее и душой и мыслями с вами. Здравствуйте, бодрствуйте, готовьте своих птиц, а я приготавливаю вам душ, пожелайте только, чтобы они были живые живьем так же, как живы ваши птицы...»

Спустя полгода Гоголь умер.

Перед смертью он сжег рукопись второго тома «Мертвых душ».

Два дня Аксаков почти не покидал своего кабинета, не желая никого видеть.

Гоголя нет...

«Вся мученическая, художественная деятельность Гоголя,— писал Иван Аксаков Тургеневу,— все его существование, писание «Мертвых душ», сожжение их и смерть — все это составляет такое огромное историческое событие, с таким необъятным значением, от которого дух захватывает. ...Казалось, он принял в свою душу всю скорбь России. Как поразительны теперь слова, заканчивающие первый том «Мертвых душ»: «Русь, Русь, куда несешься ты, дай ответ... Не дает ответа!..» И не нашел он ответа!»

Сергей Тимофеевич много думал о своей долголетней дружбе с Гоголем. Все ему казалось, что в смерти Гоголя кто-то повинен, что и сам он, Аксаков, чего-то не сделал, чтобы сохранить Гоголя, чего-то недоглядел.

«Какой же он Талейран, как назвал его Белинский? Ведь вот последние дни его жизни показали искренность Гоголя,— подумал Аксаков.— Трагедия Гоголя в том, что он искренне, до конца, горячо уверовал в свою миссию проповедника. Боже мой, что они сделали с ним, ханжи и святоши из «скотного двора» Глинки, вся его великосветская свита! Что они творили, убеждая Гоголя, будто его устами говорит сам бог, будто каждое его слово — откровение. Вот и довели его до трагического конца. По Москве идет упорный слух, что именно Александра Осиповна Смирнова советовала Гоголю сжечь «Мертвые души», выжечь огнем дьявольский обман, отдать душу богу. Пушкина сразила пуля Дантеса, а Гоголя...»

Аксаков резко поднялся. Запер дверь кабинета. Сел за стол и собрался писать секретное письмо своим сыновьям.

Он был взволнован. То садился за стол, готовясь писать, то подымался, ходил по комнате, потом снова садился и, наконец, взяв порывисто перо, стал писать:

«Одним сыновьям.

Ровно двое суток, как Гоголя нет на свете. Гоголь умер... Странные слова, совсем не производящие обыкновенного впечатления...»

«Творчество Гоголя,— продолжал Аксаков,— давно перешло в мученичество, может быть вначале благотворное, но потом перешедшее в бесполезную пытку. Как можно было полюбить человека, тело и дух которого отдыхают после пытки? Всякому было очевидно, что Гоголю ни до кого нет никакого дела...»

Вспомнился приезд Гоголя в Абрамцево: вечер, гостиная, круглый стол, напряженное ожидание... Гоголь читает первую главу второго тома «Мертвых душ»...

Аксаков снова стал писать.

Подводя последние итоги жизни Гоголя, глубоко вдумываясь в его творчество последних лет, Аксаков со всей прямотой, как бы сознается в своей ошибочной оценке второго тома:

«...Он ничего не произвел нового и умер. Правда, я предавался надежде, услышав первые главы «Мертвых душ» второго тома, но с каким-то страхом и даже подшпоривая себя; притом, ведь это было написано *прежде* и только воспроизведено или, может быть, только повторено даже в слабейшем виде. Нельзя исповедовать две религии безнаказанно. Тщетная мысль совместить и примирить их...»

И последовал вывод:

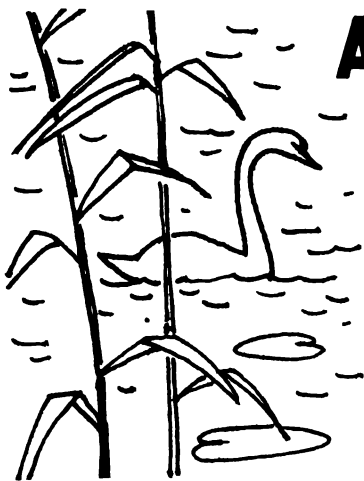
Он—«мученик высокой мысли, мученик нашего времени...»

ПО ЛЕСТНИЦЕ СЛАВЫ

Радостнейший из радостных дней! Сегодня видел человека, которого не надеялся увидеть в теперешнее мое пребывание в Москве. Человек этот — Сергей Тимофеевич Аксаков.

...Великий художник... Пламенный любовник безмятежной очаровательной природы.

Из дневника и писем Шевченко



АКСАКОВ заканчивает свою вторую книгу — «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии». Это было время большой душевной тревоги.

Дух по-прежнему тревожен,
Нет сердечной тишины,
Мир душевный невозможен...—

пишет Аксаков своему другу поэту М. А. Дмитриеву. Но, несмотря на тяжелые переживания, вызванные главным образом состоянием Гоголя в последние годы его жизни, Аксаков создает светлое, радостное произведение. Он вдохновенно славит природу и человека. Взвись за перо, Аксаков забывает жизненные невзгоды. Ничто не может изменить его решения — рассказать людям о величии природы своей родины. Он удесятерил свои силы и напряженно работает. Как будто писатель на склоне лет торопится что-то наверстать, как будто все, что было написано им в течение долгой жизни, — это только подготовка, только поиски главного.

А написано было Аксаковым немало. Он в течение всей жизни занимался литературой. Если и бывали перерывы, вызванные службой, то и

они заполнялись работой в журналах. Литературное творчество — его жизненная потребность.

С самого детства, как только маленький Аксаков узнал грамоту, он стал описывать все, что западало в душу из этого огромного и пленительного мира.

Спустя много лет Аксаков вспоминает свои первые детские зарисовки.

«...Я сам пробовал описывать зверьков, птичек и рыбок, с которыми мне довелось покороче познакомиться. Это были ребячьи попытки мальчика, которому каждое приобретенное им самим знание казалось новостью, никому не известною, драгоценным и важным открытием, которое надобно записать и сообщить другим».

Маленький Аксаков с первых шагов своего сочинительства словно преисполнен писательским долгом, который требует: «надобно записать и сообщить другим».

Попад в Казанскую гимназию, Аксаков продолжает записывать свои впечатления. В старших классах он совместно со своим товарищем Александром Панаевым создает школьный литературный «Журнал наших занятий». Студент Казанского университета, Аксаков принял участие в борьбе «карамзинистов» с «шишковистами». Он был на стороне литературных «староверов» — «шишковистов».

Шло время. Аксаков закончил университет и уехал в Петербург. Он — на службе в «Комиссии по составлению законов». Но душа его не в познании глубин законовещения. Все его интересы — в литературе, искусстве, театре.

В Петербурге Аксаков попадает к самому Александру Семеновичу Шишкову. С робостью входит он в дом автора нашумевшей тогда книги «Рассуждения о старом и новом слоге». Молодой Аксаков ласково встречен стареющим вельможей. Он читает Шишкову свои стихи. Шишков хвалит его талант. Здесь Аксаков снискал лавры поэта и талантливого декламатора.

Слух о его артистических способностях распространился по Петербургу, и его стали привлекать к участию в литературных чтениях и любительских спектаклях.

Аксаков становится активным участником организованного Шишковым общества «Беседа любителей русского слова».

Но чем ближе Аксаков узнает Шишкова и окружающих его «любителей русского слова», тем яснее он начинает видеть и чувствовать пошлость, царящую в этой среде. «По совести должен я сказать,— вспоминает Аксаков,— что ничего замечательного не происходило и даже тогдашним моим понятиям не удовлетворяло. Что бы кто ни прочел,— все остальные говорили одни пошлые комплименты, критические замечания были еще пошлее».

Вежа на жизненном пути Аксакова — Державин. Встреча с великим поэтом еще более разожгла влечение молодого Аксакова к поэзии. Спу-

стя много лет он благоговейно вспоминает, как стареющий Державин пророчески говорил ему:

«...Мое время прошло. Теперь ваше время. Теперь многие пишут славные стихи...» «Скоро явится свету второй Державин: это Пушкин, который уже в Лицее перешеголял всех писателей».

Встреча с Державиным окрылила Аксакова. Он упоен ею. Он восторженно пишет об этом счастливом времени: «...Державин знает, любит меня; он восхищался моим чтением, он так много говорил со мной, так много занимался мною; он считает, что я имею дарование, он говорил это всем, он сохранит воспоминание обо мне... Радостно билось мое сердце, и самолюбие плавало в упоении невыразимого восторга».

Аксаков на распутье. Он в поисках. Перед ним — поэзия, театр, литература.

Знаменательна встреча Аксакова с известным трагиком Я. Е. Шушериним, с которым у него завязывается дружба. Артист научил его ценить простоту и правду в игре актера, осуждать ходульность и напыщенность в театре. Шушерин пророчил даровитому декламатору большую будущность на сцене. Но Аксаков приходит в театр как литератор, переводчик, автор, критик. В это время он перевел трагедию Софокла «Филоклет». Аксаков сделал этот перевод для бенефиса Шушерина. Но трагедия не была поставлена — артист умер.

В 1819 году идет на сцене переведенная Аксаковым комедия Мольера «Школа мужей». Через некоторое время он перевел прозой мольеровского «Скупого».

Театр все более и более влечет Аксакова, но он не оставляет поэзии — переводит французского поэта Буало.

Интерес молодого Аксакова к поэзии Буало и комедиям Мольера не случаен. Его влечет их едкая сатира, бичующая пороки современного общества.

«Я хочу сделаться русским Мольером...» — пишет Аксаков своей сестре Надежде Тимофеевне.

Аксаковские переводы своеобразны. Он не педантичный переводчик, соблюдающий точность подлинника. Аксаков создает вольный перевод Буало, — у него, как говорили, получался перевод Буало «на русские нравы». Особенно характерен в этом отношении перевод восьмой сатиры Буало:

Бессильного — дави, пред сильным — пресмыкайся.

На помощь призови: обманы, подлость, ложь,

Прижимки, воровство, подлоги и грабеж.

Богатство наживать — все средства благородны.

Некоторые биографы Аксакова считали, что в молодости он был далек от общественных интересов и тем более от критики окружающей действительности. Это не верно. Его переводы — яркое тому подтверждение.

В восьмой сатире Буало, которую справедливо называли «сатирой Аксакова», он пишет:

Кто нажил взятками кровавое именье,
Тот в славе, в почестях и у людей в почтенье;
Служить — уж значит красть; а кто не мыслит так —
По мненью общему, конечно, тот дурак...

В «Вестнике Европы» все чаще стали появляться стихи Аксакова. Его «Элегия в новом вкусе» вызвала много толков, как пародия на творчество Жуковского. Это первое открытое выступление Аксакова против романтизма. Реалистическое направление в литературе все больше и больше его влечет. Гений Пушкина покоряет его. Аксаков пишет в подражание пушкинской «Черной шали» стихотворение «Уральский казак», проникнутое народным духом:

Вдруг сабля взвилась могучей рукой...
Глава покатилась жены молодой!
Безмолвно он голову тихо берет,
Безмолвно к народу на площадь идет,
Свое преступленье он всем объявил,
И требовал казни, и казнь получил.

Аксаков из дилетанта вырастает в известного в Москве литератора. Его охотно печатают в журналах. Он избран в действительные члены «Общества любителей российской словесности».

Но Аксаков уже обременен семьей, должен оставить Москву и ехать на родину, в глушь, в свое имение Надеждино, которое, как писал Аксаков, «находится в семи верстах от одного из самых дряннейших уездных городов России — Белебея». В этой короткой реплике — уныние человека, вынужденного оставить театр, литературу, жизнь в столице. Он пытается хозяйствовать, но ничего не выходит. Имение небольшое, всего 300 душ крепостных. Он плохой помещик. Аксаков бросает имение и едет в Москву, поступает на службу в Московский цензурный комитет. Но суровая служба цензора, конечно, не по нем. Он пишет в «Московском вестнике», «Галатее», «Атенее». И пишет так, что помещенная в «Московском вестнике» сатирическая статья «Рекомендация министра» приводит в ярость сановный мир и самого императора Николая I. Редактору «Московского вестника» Погодину угрожает арест. От него требуют назвать автора. Погодин клянется, что автор — какой-то неизвестный. Тогда Аксаков сам является к властям, называет себя автором статьи.

Злая сатира Аксакова била «не в бровь, а в глаз», бичевала бюрократические порядки в России. В ней рассказывается, как некий министр по протекции знакомого устроил на службу неизвестного человека. «Ну хорошо,— сказал министр,— хоть я тебя не знаю и ты просишь



Обложка «Дела» С. Т. Аксакова в III Отделении.
Центральный Государственный исторический архив в Москве.

важного места, на которое много искателей, но так и быть: для его сиятельства я напишу письмо к NN, а он для меня даст тебе место».

Аксаков получает выговор. Он попадает под особый надзор царской охранки. Каким-то чудом, хлопотами влиятельных лиц удалось остаться на службе. Но благополучие продолжается недолго. Вскоре возникла новая опасность.

В Москве отдельной книжкой выходит в свет «Двенадцать спящих бутошников. Поучительная баллада» — сатира на царскую полицию, в форме пародии на «Двенадцать спящих дев» Жуковского. В сановном мире буря. Как мог такую книжку пропустить цензор? Цензором был Аксаков. Полетело донесение обер-полицмейстера генерал-губернатору Голицыну. Тот, в свою очередь, пишет в Петербург самому графу Бенкендорфу — шефу жандармов. Дело снова доходит до царя. В результате — приказ: книгу из обращения изъять, сочинителя «удалить из Москвы», цензора отстранить от должности «по неспособности к оной».

Аксаков снова вынужден искать службу. В 1833 году он становится инспектором Константиновского землемерного училища, которое через полтора года преобразуется в межевой институт. Аксаков назначается директором нового института.

Вскоре на должность преподавателя русского языка он устраивает Белинского, остро нуждавшегося тогда в деньгах. Это было время большой дружбы Белинского с семьей Аксаковых.

Спустя пять лет Аксаков ушел из межевого института и зажил, как он писал, «свободным человеком».

1832 год. Встреча с Гоголем — это одно из самых знаменательных событий в литературной судьбе Аксакова.

«Скажи Гоголю, — пишет Аксаков 26 марта 1835 года Н. И. Надеждину, — что я от него без ума».

Завязывается дружба, продолжавшаяся двадцать лет, до самой смерти Гоголя.

Уезжая в Италию, Гоголь шлет Аксакову письмо с дороги, из Варшавы, 10 июня 1840 года:

«Мне не кажется, что я с вами расстался. Я вас вижу возле себя ежеминутно и даже так, как будто бы вы только что сказали мне несколько слов, и мне следует на них отвечать».

Дружба с Гоголем крепнет. Наступает самая яркая пора жизни Аксакова — расцвет его литературного творчества. В 1847 году выходит в свет первая книга Аксакова «Записки об уженье», которая приносит широкое признание его литературного таланта. Окрыленный успехом первой книги, он берется за новую — «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии».

...Осень 1851 года. Аксаков напряженно работает. Он заканчивает свою вторую книгу об охоте.

Ежедневно с утра Аксаков диктует Вере. Она, как всегда, аккуратна: приготовлена бумага, отточены гусиные перья, налита чернильница.

Накануне вечером Сергей Тимофеевич, по обыкновению, подбирал рукописные материалы, делал выписки из книг, набрасывал план будущих глав, создавал так называемые заготовки.

Работа над «Записками» подходила к концу. Осталось дать общую картину реки, озера, болота, леса. Нужно было показать величие русской природы, ее воздействие на человека. Хотелось сказать читателю о



Титульный лист первого издания книги С. Т. Аксакова «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии». 1852 г.
Музей-усадьба «Абрамцево».

значении охоты, о ее внутреннем смысле, о «философии охоты», о том, как она сближает человека с природой. Ему предстояло сказать свое слово по вечному вопросу — «человек и природа».

— Надо кончать, Верочка, наши записки об охоте. Затянулось как! — сказал Аксаков.

— Но ведь материалов сколько вы опять приготовили! — показала Вера на грудку книг и тетрадей на столе.

— За работу, Верочка! Время не стоит! — прервал ее Аксаков, раскладывая новые записки.

Материалы были обильны и многообразны. На столе лежала книга естествоиспытателя Рулье, о которой Аксаков говорил как о «новой славе в мировой биологии».

К. Ф. Рулье, известный ученый, просветитель, опиравшийся в своих работах на труды Ламарка, Жоффруа Сен-Илера, был представителем самой передовой науки того времени. Он высоко ценил произведения Аксакова, написанные на основании самых тщательных личных наблюдений над природой и собранных писателем многочисленных фактических сведений.

По словам Рулье, книги Аксакова явились неоценимым подарком для передовой науки. И, как бы в подтверждение слов прославленного ученого, тут же рядом на столе лежали письма охотников, лесников, записные книжки писателя, его дневники — огромный ценнейший материал, который лег в основу его произведений об охоте.

— Начнем, Верочка! Посмотрим описание лебедя. То самое описание, которое похвалил Гоголь. Отшлифуем.

В записках «История моего знакомства с Гоголем» Аксаков вспоминает, как Гоголь живо интересовался описанием каждой птицы, как, хваля описание утки-гоголя, пошутил: «Вот какой проворный мой соименник!»

Это было замечательное время дружной совместной работы Аксакова и Гоголя.

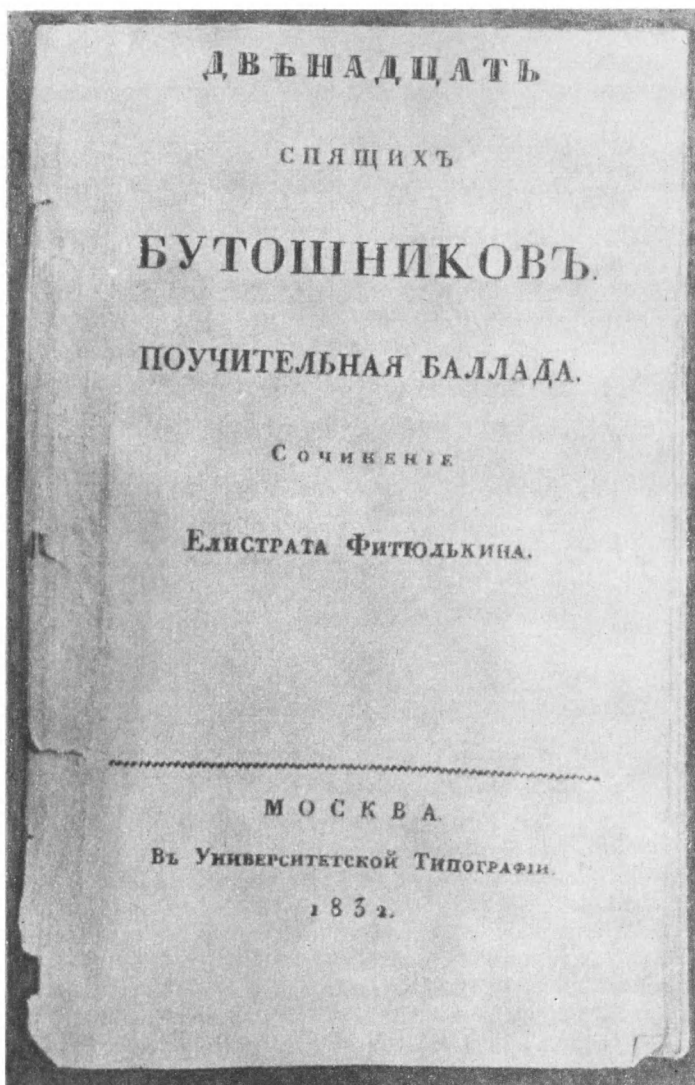
«Пришел Гоголь к нам обедать,— писал Аксаков.— Часу в 7-м вдруг говорит: «А что бы куличка прочесть?» Я отвечал, что теперь все маленькие кулички, но что если он хочет, то Константин принесет все мои записки и прочтет их в гостиной. Гоголь сказал, что лучше пойти наверх...

...Я выбрал маленького куличка и заставил Костю читать...»

Едва Константин дочитал, как Гоголь выхватил тетрадь из кармана и сказал: «Ну, а теперь я вам прочту». И Гоголь прочел вторую главу из второго тома «Мертвых душ».

В другой раз, прослушав чтение отрывков о дупелях и гаршнепе, Гоголь попросил дать ему рукопись, чтобы прочесть у себя дома.

Описание гуся и лебедя Гоголь очень похвалил. Но тем не менее Аксаков снова «взялся за лебедя», твердо веря словам Гоголя, который не



Титульный лист брошюры «Двенадцать спящих бутушников»,
из-за которой Аксаков был уволен с должности цензора.

Музей-усадьба «Абрамцево».

раз говорил ему: «Только живописец понимает, что такое значит тронуть в последний раз картину, после этого ее не узнаешь».

Описание лебедя — героя множества сказок, песен, народных сказаний, стихотворений — было для Аксакова особенно трудным. Он стремился здесь к простоте, точности, боясь многословия и слащавой лирики.

Он много раз переделывал написанное и все был недоволен, советовался с Верой и Константином и даже послал один из вариантов описания лебедя сыну Ивану, находящемуся в то время по служебным делам в Ярославле. Из их переписки о лебеде видно, как глубоко, вдумчиво работал Аксаков над описанием каждой птицы, как, сомневаясь в своих силах, проверяя свое чутье художника, искал совета в выборе отдельных фраз и слов.

«Я прочел отрывки, присланные вами из лебедя и гуся,— писал Иван Сергеевич отцу,— и нахожу, что они очень хороши! В описании лебедя, по крайней мере, в том, что прислано, все очень умеренно, и легкий оттенок лиризма скрадывается технической точностью выражений, например, о просушке перьев, о чистке носом и проч. Только одно слово мне показалось изношенным: темно-голубое стекло воды, но его можно заменить другим, и все будет прекрасно. Я не понимаю, чем вы можете быть тут недовольны: вы решительно избегли того подводного камня, который представляется при описании лебедя».

Сергей Тимофеевич, высоко ценя поэтическое дарование Ивана, стал упрощать сказанное о лебеде и уничтожать «картинность» пейзажа.

...Приблизив черновик к глазам, Аксаков стал диктовать Вере:

— «Лебедь по своей величине, силе, красоте и величавой осанке давно и справедливо назван царем всей водяной или водоплавающей птицы. Белый как снег, с блестящими, прозрачными небольшими глазами, с черным носом и черными лапами, с длинною, гибкою и красивую шею, он невыразимо прекрасен, когда спокойно плывет между зеленых камышей по темно-синей, гладкой поверхности воды...»

Аксаков продолжал диктовать. За лебедем последовали разные виды уток. «Раздел второй» — о водяной дичи — был этим закончен. Предстояло дать введение или, как Аксаков назвал, «приступ».

Вдруг Аксаков остановился и спросил:

— Не слишком ли красиво? Не люблю нарочитого эффекта. Получается не живая природа, а декорация.

Впоследствии, когда книга вышла в свет, Чернышевский писал о ней:

«Что может быть живописнее этого описания! А глупые тетерева, утки, дупели, вальдшнепы, гаршнепы и им подобные и не подозревают, что судьба наделила их таким историком, как г. Аксаков; не подозревают, что в описаниях г. Аксакова они лучше, красивей и вкуснее, нежели на самом деле. Какой-нибудь дрянной ястреб, способный напугать одних воробьев, доставляет нам столько удовольствий, и все потому, что его описывает г. Аксаков».



С. Т. Аксаков диктует своей дочери Вере в Абрамцеве.

Акварель К. А. Трутовского. 1892 г.

Гос. Третьяковская галерея

Третий час диктовал Аксаков.

— «Я не люблю больших рек: и громадных утесистых их берегов, и песчаных, печальных отмелей луговой стороны. Мне даже страшно смотреть на необъятную массу воды, так самовластно отделяющую меня от противоположного берега, через которую без опасности нельзя иногда и попасть на другую сторону...»

— А величие моря? А поэзия бури?

— Нет, Верочка... Может, это потому, что я стар и хвор... Кто его знает? Мне бы тишины, спокойствия побольше!

— Ну, а лес, отесенька? Ведь в нем сила какая... Народная фантазия населяет его даже сверхъестественными существами, лешими...

— У меня лес населен птицами и зверьем, а насчет леших... Это у Загоскина чертовщина всякая в лесу.

* * *

Когда книга была закончена, начались мытарства с цензурой. Аксаков не раз говорил, если на написание книги требуются годы, то на хлопоты, связанные с цензурой,— не меньше. Чиновники цензурного комитета стали в последнее время особенно придирчивы к Аксакову. Они умудрялись находить подозрительное и недозволенное даже в описаниях природы, птиц, рыб.

Наконец препятствия были преодолены. В 1852 году «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» вышли в свет.

Судьба книги оказалась неожиданной. Аксаковские записки об охоте, предназначенные, как он говорил, охотникам, заинтересовали всю читающую Россию.

Аксаков стал известен всей стране.

Люди по-новому увидели свою родину — ее леса, реки, степи, птиц,— все сказочное богатство природы, пленительный облик родной земли.

Никто до Аксакова не сумел так чутко услышать и описать, как «токуют глухие и простые тетерева, пищат рябчики, хрипят на тягах вальдшнепы, воркуют, каждая по-своему, все породы диких голубей, взвизгивают и чокают дрозды, заунывно, мелодически перекликаются иволги, стонут рябые кукушки, постукивают, долбя деревья, разноперые дятлы, трубят желны, трещат сойки...»

В книге Аксакова была страстная, вдохновенная любовь к природе и любовь к человеку, покорившая ее. В книге было пылкое стремление раскрыть тайны природы, найти в ней силы, возвышающие душу, преодолевающие суету «самолюбивых мечтаний», «мелочных, своекорыстных хлопот».

О «Записках ружейного охотника» заговорила вся Россия. Книга будила горячее чувство патриотизма.

Критика единодушно признала Аксакова выдающимся писателем. В журналах появились хвалебные рецензии. Посыпались письма, поздравления.

В Абрамцево приехал Михаил Семенович Щепкин. Знаменитый артист. Друг семьи Аксаковых.

Тучный, он ввалился в кабинет Аксакова и не мог отдышаться, вытирая потную шею зеленым фуляровым платком.

— Спасите, ради бога!.. Дайте экземплярчик!

— Ничего не понимаю, скажите толком! В чем дело? — спросил Аксаков.

— Всю Москву обегал, будь она неладна! Ни в одной лавке вашей книги уже нет. Ее брали нарасхват. Дайте экземплярчик! Что вы такое написали? Чем заворожили публику?

Наступила осень. Подул холодный ветер. За ночь он навалил в лесу столько облетевшей листвы, что по тропинкам ходили, как по ковру в желтых, оранжевых, темно-зеленых разводах. Парк в Абрамцево перекрасился в желтый цвет. Тон задавали березы. От их белых стволов и светло-желтой листвы стало светлее и наряднее. Зато речка Воря, такая ласковая летом, помрачнела, покрылась, как морщинами, свинцовой рябью.

Холодно стало в аксаковском доме. Дуло из окон. Печей еще не топили.

Кончался день. Зажгли лампы. Аксаков ушел в кабинет, сел в кресло и закурил сигару. Решил отдохнуть, подумать в тиши. Но вошла Ольга Семеновна. Она весь день хлопотала по хозяйству. Осень для нее — время страдное: солили рыжики, квасили капусту, варили смокву. Запасалась на зиму всякой всячиной. Усталая, Ольга Семеновна присела.

Завязался разговор. Ольга Семеновна жаловалась на несносную погоду. Второй год зимовали здесь. Нынче осень не на шутку взялась за Абрамцево. Пошли холодные дожди. На дороге грязь непролазная. Жить становится все труднее. Надо переезжать в Москву.

За окном стоял исхлестанный ветром и дождем голый куст сирени. Не о нем ли Вера восторженно писала Машеньке Карташевской в Петербург: «А синель у нас, Машенька, прелестная! Таковую ты и не видывала!» Теперь тонкие мокрые ветки зябко прижимались к стеклу и чуть-чуть шелестели, как будто просились впустить их в теплый дом.

— Куда же, Оленька, поедем? — спросил Аксаков.

Ольга Семеновна пожала плечами.

— Как ты думаешь, — снова спросил Аксаков, — надо снять квартиру в Москве? Как с деньгами?

— Денег нет.

— Придется съездить к Михаилу Петровичу Погодину.

— Да что ты? Мы ему и так задолжали.

— А сколько мы должны Грише?

— Пятнадцать тысяч.

Речь шла о старшем сыне, Григории Сергеевиче, который был прокурором в Симбирске, затем самарским губернатором. В отличие от Константина и Ивана, Григорий Сергеевич Аксаков был далек от литературных дел отца. Он смолodu стал служить, быстро продвигался вперед и достиг высоких чинов.

Аксаков замолчал. Спокойная, всегда ласковая, приветливая, Ольга Семеновна на этот раз не выдержала и стала жаловаться на судьбу.

— Нет, ты подумай только! Опять придется жить зимой здесь. Ведь ехать-то некуда. За квартиру в Москве надо внести вперед. А где взять денег? Боже мой, сколько уже квартир мы переменили! Каждый год переезжаем... — И Ольга Семеновна, загибая пальцы, стала считать: —

На Смоленской площади, на Сивцевом Вражке, на Сенном рынке, на Старой Басманной, снова на Смоленском рынке, в Газетном переулке, в Серебряном переулке, в Филипповском, Николо-Песковском, Де-нежном, на Арбате, на Тверском бульваре, в Леонтьевском переулке, Пименовском... За четырнадцать лет поменяли пятнадцать квартир, не считая того, что здесь, в Абрамцеве, столько жили...

Нелегкую жизнь прожила Ольга Семеновна.

Родной дом... Маменька — красавица-турчанка... В детстве даже дразнили Оленьку, называли басурманкой. Страстные письма влюбленного Аксакова. Шумная свадьба... А потом уединенная семейная жизнь в глуши Оренбургской губернии, в имении Аксаковых. Воспитание детей. Переезд в Москву и бесконечные заботы, заботы, заботы... Неудачи мужа по службе — в цензурном комитете, в межевом институте, мытарства с цензурой... И непрестанные хлопоты по дому. Гости, обеды, ужины, литературные чтения, споры далеко за полночь...

Имение в Заволжье без присмотра не могло прокормить большую семью. Вечная нехватка денег.

Росла семья. Двенадцать детей родила Ольга Семеновна. Трудно приходилось. Но Ольга Семеновна не роптала, была счастлива — любимый и любящий муж, радовали его литературные успехи, дружная семья!

* * *

Решили зимовать в Абрамцеве. Но надо было рассчитаться с некоторыми неотложными долгами.

Рано утром Ольга Семеновна с Константином выехали из Абрамцева в Москву — к Погодину за деньгами. Решили перезаложить Оренбургское имение, получить деньги, внести их Погодину в уплату старого долга и вместе с тем, выдав ему новые векселя, получить на руки кое-какую сумму.

Аксаковы торопились, чтобы застать Погодина. Покончив с делами в банке, они направились к Девичьему Полю.

Выехали на Пречистенку. Замелькали домишки. Как будто, перед тем как рассыпать их по обеим сторонам улицы, перемешали с церковками, у которых то блестели на солнце золотые купола, то синели макушки с крестами. Попадались дворянские особняки, строго соблюдавшие чистоту ампира, и новые аляповатые купеческие дома.

Вдруг перед Зубовской площадью карета остановилась. Наперерез ей тянулся через всю площадь обоз крестьянских телег, груженных камнем.словно текла река, «без меры в ширину, без конца в длину». Возили камень на строительство нового собора — храма Христа-спасителя. Рядом с лохматыми лошаденками шли мужики в сбитых лаптях. Серые от пыли лица, воспаленные глаза, клочковатые бороденки. За телегами то здесь, то там брели грязные понурые псы. Колыхались привязанные к телегам ведерки с дегтем.



В абрамцевском парке «тон задавали березы...»

— Эй, борода, сторонись! — крикнул с облучка мордастый кучер и ловко маневрируя, пересек Зубовскую площадь.

После тряски по булыжникам попали наконец на широкое вязкое Девичье Поле — далекую окраину Москвы.

Тишина... Нет-нет да залает поджарая бродячая собака, слоняющаяся без дела, да перебежит дорогу встревоженная наседка.

У Погодина был на Девичьем Поле дом, фруктовый сад. Здесь нередко Гоголь праздновал свои именины. Под яблонями, бывало, расставят столы и кресла, на ветвях повесят фонарики — и польются приветственные речи...

Михаил Петрович Погодин — ученый, историк, публицист, издатель. Он богат, у него большие связи, его знают и ценят даже при дворе. С Аксаковым у него многолетняя дружба.

Ольга Семеновна с Константином любезно приняты Погодиным. Он велеречив, внимателен и говорит о долге как бы даже смущенно:

— Уж больно цензура придирается к Сергею Тимофеевичу... Много не напечатать... Аванс и так велик... Но, конечно, с деньгами уладим...

Деньги были получены.

* * *

После отъезда жены и сына Аксаков пытался писать. Но не работало. Мирно светятся свечи в канделябрах. Белеет брошенная на стол пачка гусиных перьев. Монотонные звуки дождя усиливают безмолвие. «Как могло случиться, — думает Аксаков, — что не на что даже квартиру снять в Москве и нужно снова просить у Погодина займы? Как выпутаться? Книга об охоте принесла немало денег. Но долги, долги... Цензура никогда так не свирепствовала. Почему не разрешают издания моих сборников об охоте? Попал в западню?..»

Вспомнился проклятый день, с которого и начались невзгоды. Стряслось несчастье с сыном Иваном.

Третий сын Аксакова, Иван Сергеевич, был высок, строен, красив. В отличие от старшего брата, Константина, неуклюжего, бородатого, в красной рубахе и мурмолке, Иван одевался со вкусом и по моде. Он отличался от брата не только наружностью. Выдержанный, собранный, он скорее походил на дипломата, чем на писателя и ученого.

Окончив Императорское училище правоведения, Иван Сергеевич стал быстро продвигаться по службе: он — товарищ председателя уголовной палаты в Калуге, потом обер-секретарь московского сената. Наконец, он становится чиновником министерства внутренних дел. Его командировают в Астраханскую губернию, Бессарабию, в Ярославль для ряда обследований. Но Иван Аксаков не бездумный служака, он — поэт, писатель, публицист. Он видит в глухих углах страны, куда его посылают, «бедность, да бедность, да несовершенство нашей жизни», как писал Гоголь о российском захолустье.

БРОДЯГА.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Глава I

ПОВЕГЪ.

I.

Сядь, безоблачень, сводъ неба голубой,
На подвесь солнце становилось.
Ни звуковъ, ни речей: валить и шашеть зной,
Все будто спитъ, шь притаилось:
Жара и тишина! Манить издалека
Безмянливый лѣсъ прохладной тѣнью.
Катилась медленно лѣшная рѣка,
Послушна вѣчному стремленью!
Крутого берега бѣлится отъѣсъ,
Водами вешними обмытый:
На вѣкъ село: за шимъ, полатъ, видѣть лѣсъ,
Внизу коньками нарытый
Несось: вверхъ отъ рѣки полуть на кагоры,
Дорожескъ узкѣ паввы.
А тамъ отлогой скаты, за шимъ лежать просторы,
И все дуга, дуга да швы!

25

Начало поэмы И. С. Аксакова «Бродяга».
(Корректурные листы «Московского сборника» с авторской правкой.)

Музей-усадьба «Абрамцево».

Крепостное право вызывает в нем то резкое чувство негодования и протеста, то грустные раздумья о бесплодности борьбы с всемогущим злом. На этой почве и родилась поэзия Ивана Аксакова — поэта сомневающегося, ищущего. Если старший брат, Константин, фанатически верен догмам славянофильства, то Иван в сороковые годы и в начале пятидесятых нередко выступал со своим особым толкованием славянофильских идей.

В его поэме «Бродяга» — о беглом крепостном крестьянине Алешке — даны правдивые картины народной жизни. Ярко показано стремление крестьян к свободе.

После появления «Бродяги» ярославский военный губернатор написал донесение о том, что Иван Аксаков читает в обществе поэму «незаконного содержания». В результате — грозное замечание от министра внутренних дел. Иван Сергеевич подал в отставку.

В 1849 году Иван Аксаков был арестован. Его допросили в Третьем отделении собственной канцелярии Николая I. Он обязан был дать письменные ответы на заданные вопросы: о своих политических взглядах, целях славянофилов, о его отношении к западному миру и о многом другом. Его ответами заинтересовался сам царь. Прочтя их, Николай I передал испанскую Аксаковым тетрадь шефу жандармов графу Орлову и надписал сверху: «Призови. Прочти. Вразуми. Отпусти».

Спустя семь дней Иван Аксаков был освобожден. Но он был взят под надзор тайной полиции.

Он пытается издавать «Московский сборник», но после первого тома издание было закрыто, и Ивану Аксакову запретили что-либо издавать и редактировать.

Стремясь вырваться из тисков царской охранки, он решает отправиться в кругосветное путешествие на военном корабле. Это была известная экспедиция, в которой принял участие И. А. Гончаров. Но отъезд ему был запрещен. Через несколько лет после Крымской войны, во время которой Иван Аксаков был в ополчении, он неофициально становится редактором «Русской беседы», издает газету «Парус» и ряд других газет и журналов. Деятельность Ивана Аксакова — бурная, многогранная. Его роль в творческой жизни отца значительна. Несмотря на идейные столкновения, которые изредка происходили у отца с сыном, их духовная связь была крепка. Этому способствовали честность и правдивость Ивана.

Когда Иван Аксаков был арестован, при обыске у него были обнаружены письма отца. В них Сергей Тимофеевич делился с сыном своими мыслями, причем не стеснялся в выражениях. В письмах были острые суждения о литературе, писателях, цензуре. Критиковались и некоторые порядки в стране.

Письма попали в «Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии», в руки самого управляющего Третьим отделением всемогущего генерала Дубельта.



Москва, Сивцев Вражек, 30. Дом, в котором жил и работал С. Т. Аксаков в 40-х годах прошлого века. (На доме — мемориальная доска.)

Созданное Николаем I Третье отделение — карающий меч русского самодержавия. Третье отделение искореняло любое проявление передовой мысли, душило науку, литературу, заводило специальные досье (дела) на каждого заподозренного в свободомыслии. Сергей Тимофеевич Аксаков попал в их число еще тогда, когда им была написана «Рекомендация министра».

Аксаков не знал этой закулисной стороны, метался, воевал с цензурой, хлопотал, чтобы разрешили ему издание «Охотничьих сборников». Ему отказывали. Он не понимал причины, вновь хлопотал.

Долго лелеял Аксаков мысль об издании «Охотничьих сборников». Он хотел поделиться в них своим опытом охотника и рыболова, рассказать о неисчерпаемых богатствах родины. Им был собран для «Охотничьих сборников» большой материал. Это были статьи по теории и практике охоты и рыбной ловли. Аксаков настолько был уверен в скором издании сборников, что отправил план первых выпусков Тургеневу, просил дать свои замечания.

Но тщетно. Несмотря на специальный характер охотничьих сборников, выпуск их запретили. Аксаков подавал одно прошение за другим. Наконец получил ответ, что требуется «испросить монаршее согласие», и для этого прошение Аксакова направили товарищу министра просвещения Норову. Тот запросил мнение генерала Дубельта. Прошло много времени. После томительного ожидания последовал ответ: «В просьбе коллежского советника Аксакова, Сергея Тимофеевича, отказать».

Цензура стала еще более придирчивой. Даже самые невинные охотничьи рассказы и отрывки из «Семейной хроники» не пропускались.

Денег не было. Положение Аксакова все ухудшалось. Надежда на издание «Охотничьих сборников» окончательно рухнула.

Запрещение издавать сборники Аксаков воспринял как явное преследование его со стороны правительства.

Несмотря на обрушившиеся невзгоды, Аксаков энергично берется за новую работу. Вместо «Охотничьих сборников» он готовит новую книгу — «Рассказы и воспоминания охотника», состоящую из пятнадцати рассказов об охоте и рыбной ловле. Как и раньше, Аксаков пишет о «поэзии охоты», о величии природы, о необходимости ее познания. Аксаковская «философия природы» в этой книге получила дальнейшее развитие, обогатилась более глубоким проникновением в «мир спокойствия, свободы».

«Рассказы и воспоминания охотника» вышли в свет в 1855 году. Это последняя книга трилогии Аксакова об охоте.

* * *

Аксаковы зимуют в Абрамцево.

Яркий солнечный день — один из первых дней красавицы зимы. Но Аксакова не влечет взглянуть на усталые белым бархатом поля, на



Река Воря зимой.

сверкающие серебром елочки в ближней роще. Заложив руки за спину, он ходит из угла в угол по кабинету. Ольга Семеновна снова уехала в Москву хлопотать о деньгах.

Рождались тоскливые, тревожные раздумья.

«Как часто люди не понимают меня. Гоголь и тот до конца не понял моих стремлений уберечь его от губельного мистицизма... Злобой были продиктованы его письма из Италии. Погодин, кромсая в угоду цензуре мои статьи, считает это за благо и не понимает моего возмущения... Даже дети, Константин и Иван, часто не соглашались с моими взглядами. У них, у сыновей, все по клеточкам, по полочкам расположено. Тут — славянофилы, а здесь — западники, то — для друзей, а то — для недругов. Мне неведома панацея от всех зол, а они считают, что постигли...»

Аксаков сел в кресло, закурил. Намерен был работать, но мысли рассеивались.

Вышла вторая книга... Успех... Пришла слава...

Слава, слава! Может ли она заполнить сердце? Да и пришла она поздневато!..

Аксаков знал, что о его книгах возникло много толков в Москве. Говорили, что это Гоголь разбудил талант Аксакова и, более того, помог ему, способствовал успеху. Не будь Гоголя, не было бы Аксакова, — толковали в Москве.

Но так ли это? Роль Гоголя в жизни и творчестве Аксакова действительно была огромна.

Он писал Гоголю в 1844 году: «...Нашелся человек, близкий моему сердцу сам по себе и драгоценный мне как великий художник. Он стал передо мной, лицом к лицу, поднял со дна души давно заброшенные мысли и говорит: *«Пойдем вместе! Я вот что делаю с собой. Помоги мне, а я потом помогу тебе»*.

Некоторые критики ссылались на письмо Гоголя, в котором он советовал Аксакову писать свои воспоминания. Но письмо это было написано 8 августа 1847 года, а первый отрывок аксаковской «Семейной хроники» появился в печати годом раньше, в 1846 году, а начал Аксаков его писать в 1840 году. Писали и о влиянии Тургенева.

...Аксаков глянул в окно. Потянуло в лес, на простор, к природе. Он знал, там разлетятся в прах мнимые тревоги. Перед величием природы они ничтожны...

Он вышел в парк.

Все было в снегу. Но это не белый саван, это не умершая природа. Расстилался искрящийся на солнце веселый сказочный мир. За каждой елкой — притаившийся Берендей, знакомый с детства волшебник. Мир спокойствия проникал в душу.

Приходили иные мысли, рождались новые чувства.

Преследования? Борьба с цензурой? Нет, не вечна такая судьба писателя. Наступит другое время... Когда? Какое?



С. Т. Аксаков в своем кабинете.
Рисунок Э. А. Дмитриева-Мамонова. 1854 г.
Музей-усадьба «Абрамцево».

Наплыв чувств не умещался в привычной прозе. В сознании, в сердце зазвучали строки:

Как узнать?.. Судёб народных
Не проникнуть в мрак и даль,
Не постичь путей исходных,
Богом вписанных в скрижаль...

Это строки стихотворения, которое будет написано Аксаковым через много лет, почти перед самой смертью. Они не раз еще, быть может, возникнут в сознании писателя.

Недолго бродил Аксаков — вскоре вернулся. Вошел в переднюю, стал стряхивать снег с сапог.

В переднюю вбежала Наденька и всплеснула руками:

— Отесенька! Весь в снегу! Как рождественский дед! Дай я отряхну!..

Из комнат потянуло дразнящим теплом. Повеяло уютом, и запахом сигар, и Верочкиными духами, и еще чем-то — неуловимым ароматом родного дома. Все обещало покой и отдых. Теперь приятно было вспомнить, как внизу, у мостков, пришлось пройти по колено в снегу, чтобы выбраться к березам и дальше в лес.

Аксаков прошел к себе и стал просматривать прибывшую почту. Двенадцать писем!.. И так ежедневно: по десять — пятнадцать писем в день. Не много ли для старого охотника?

Перебирая письма, он увидел большую конверт. Вскрыл его, с волнением стал читать. Это было письмо от студентов Казанского университета, где он учился. Его называли в письме «первым студентом» и выражали восторженные чувства, признания.

Аксакова взволновало письмо студентов. Ему было дорого отношение молодежи. Голоса нового поколения... Голоса будущего...

Спустя три года Аксаков получил еще одно коллективное письмо — от студентов Петербургского университета.

Петербургские студенты писали:

«...Ваше мнение сделалось для университетского юношества общественным мнением. Вместо того чтобы спросить, как будет встречено какое-либо их мероприятие общественным мнением, студенты говорят: «А что скажет об этом Аксаков?» Примите же, душевно чтимый Сергей Тимофеевич, выражение нашей общей глубокой и правдивой благодарности, считайте студентов Петербургского университета людьми близкими к вам по духу, горячо любящими вас и убежденными, что вам принадлежит неотъемлемое право благословить их на благое дело, что вы со всей справедливостью носите святое имя гражданина-писателя».

Аксаков долго сидел, думал. Мысли, мысли... Одна за другой...

«Значит, нужен людям. Оценен... Вы, господин Дубельт, послушайте, что молодежь говорит!..»

— Вера, Вера! — позвал Аксаков, услышав шаги дочери.

Показал письмо казанских студентов и с волнением следил за ее лицом. Вера дважды прочла письмо. Она зарделась от радости и молча бережно вложила письмо в конверт.

— Садись, Верочка, буду диктовать... Авось на что-нибудь еще способен коллежский советник Аксаков...

Началась работа. Писали главы «Семейной хроники».

Свое произведение о далеком прошлом Аксаков начал еще в 1840 году. Работая над «Семейной хроникой», он писал также «Воспоминания» — книгу о своей юности, о пребывании в казанской гимназии и университете.

Долго диктовал Аксаков, до самого обеда. Потом все пошло по-заведенному: вечерний чай, чтение вслух в гостиной.

Поздним вечером Аксаков вышел из кабинета в столовую. В доме уже спали. За столом сидела Вера. В руках у нее была раскрытая книга.

— Что, Костенька не приезжал?

— Нет, отесенька.

— Удивительно. Небось не может расстаться с Хомяковым... — сказал Аксаков и подумал: «Какая неумная восторженность!»

Помолчав, Аксаков добавил:



Константин Сергеевич Аксаков.
Рисунок из семейного альбома Аксаковых.

— Гляди, уж скоро полночь, а его нет...

Аксаков подошел к Вере, заглянул ей в глаза.

— Если бы ты знала, Верочка, сколько тревоги вызывает иногда у меня Костенька!

— Знаю, отесенька!

Отношения Сергея Тимофеевича с Константином были сложны. Он горячо любил сына, ценил в нем честность, ценил его познания в литературе, его одаренность, давал ему на просмотр почти все, что писал. Но сын тревожил какой-то преувеличенной восторженностью, порой непродуманным поклонением старине, безоглядным служением догмам славянофильства.

Константин боготворит отца, видит в нем великого писателя, отражающего в своих произведениях новое животворное «русское направление». Сергей Тимофеевич лучше всех знал душу своего Константина, лелеял ее и многое прощал ему, не раз убеждаясь в непоправимых его ошибках.

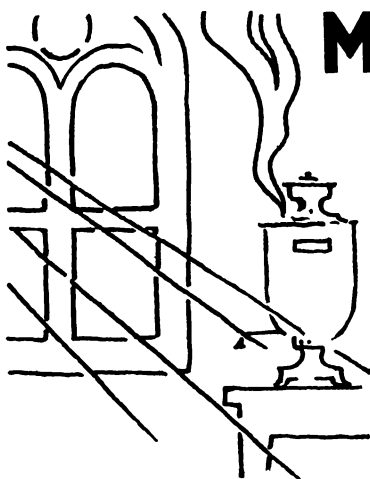
В письме Сергея Тимофеевича к младшему сыну Ивану раскрываются некоторые противоречия в отношениях отца и Константина. 28 ноября 1848 года, после того как Гоголь обиделся на Константина за его резкое выступление против Жуковского и ушел, Аксаков написал Ивану: «Явно его [Гоголя] недоброжелательство к Константину, которого, разумеется, он считает причиной всех моих писем. Признаюсь, мне часто бывает досадно. Неужели я, проживши столько лет, не умел нажить себе имени неглупого и самобытного человека? Все, что я говорю и делаю, решительно приписывается Константину! Это обстоятельство нередко заставляет меня противоречить ему при свидетелях в том, с чем я внутренне согласен. Вот это, конечно, глупо».

О Константине Аксакове ходили разные толки и слухи, но вряд ли современникам был ясен его истинный облик. Кем он был в действительности — человек самый близкий, самый дорогой сердцу Сергея Тимофеевича Аксакова, человек, влияние которого огромно на жизнь и творчество писателя, но не раз вызывавший его порицание? Кто он?

ПРЕОДОЛЕВАЯ ПРЕПЯТСТВИЯ

У нас была одна любовь, но не одинокая...

Герцен



МЯГКИЙ свет от висячей лампы под белым абажуром падает на круглый стол. Чуть колышутся стеклянные подвески абажура. В углу, куда не достигает светло-желтый круг от лампы, еле слышно жужжит на столике затухающий самовар. Все тише и тише эти звуки... Вот они заглохли, но через минуту снова слышны. Уже другие — заунывные, доносящиеся словно издалека. Кажется, что идут они не отсюда, а рождены где-то очень далеко и там, может быть, поют во всю свою мощь об иной жизни. И слушают их какие-то иные, чужие и сильные люди. А сюда вот дошла тоненькая, как волосок, бессвязная песенка-жужжание, песенка, которая то обрвется, то опять оживает...

Чернеет в столовой Аксаковых врезанное в стену небольшое, в готическом стиле окно в буфетную, откуда подают кушанья. Недалеко — столик из красного дерева. Над ним — план Абрамцева.

За столом приглушенные голоса сестер. Звякает ложечка в руке маменьки, помешивающей малиновое варенье в стакане чая.

На диване сидит Константин, дремлет.

Он то слышит жужжание затухающего самовара, то эти звуки про-

падают, и вместо них появляются другие. Звучит веселая, дружная песня. Он сам ее сочинил, а поют хором сестры, братья и он сам. Братья и он в латах и шлемах, сестры в сарафанах. Водят хоровод в праздник Вячки. Что это за праздник? Ах, это давным-давно, в раннем детстве, Константин был пленен рассказом о храбром русском князе Вячке, который не сдался немцам при осаде Куксгавена, выбросился из башни и погиб. В честь храброго князя маленькие Аксаковы ежегодно 30 ноября праздновали день Вячки и хором пели:

Запоемте, братцы, песню славную,
Песню славную, старинную,
Как, бывало, храбрый Вячка наш...

Слышится дремлющему Константину словно издалека эта дружная песня, перемешанная с жужжанием самовара.

Кто-то толкает, будит:

— Костенька, пошел бы спать!

— Да что вы, маменька, разве я сплю?

— Ну ладно, ладно...

— Немного помечталось!..

И недосказал: «Думалось о старине, о нашей древней святой Руси...»

Оборвалась песенка, тонкая, как волосок. Заглох в углу самовар. Сестры разошлись. Остались за столом Вера, листающая книгу, да маменька, молча делающая на бумажке какие-то записи.

Кажется Константину, дремлющему в уютной столовой, возле потухшего самовара, что вот он на трибуне. Перед ним море голов. Он видит глаза Хомякова, они горят как уголья. И тщедушный горбун с седой борошкой милее ему всех красавиц московских. Он один из немногих понимает душу Константина.

Хомякова знали как поэта, философа, знали его и как богослова, поборника православия. Всю неистовую страсть он направил на борьбу с «гнилым Западом», «тлетворным влиянием западной культуры». Возглавляя движение славянофилов, он нашел в Константине Аксакове верного сподвижника.

...Но вот исчез Хомяков, исчезло собрание славянофилов. А он, маленький Костенька, увязался за отцом, который идет быстрым шагом по березовой аллее... «Отесенька, отесенька, остановись!» А отесенька идет вперед и вперед и не обернется... Константину не догнать его. Он изо всех сил пытается бежать, но все стоит на месте. А отец вон уж как далеко ушел вперед...

Но и это исчезло. И уже вместо белых берез — обрывки писем Белинского. Это он, бывший друг Константина, писал в 1839 году о молодом Аксакове: «Славное дитя» — и жалел его: «Жалко, что движения в нем мало», «Константин Аксаков — человек даровитый, теплый, благородный», а относительно его политических взглядов Белинский заме-



А. С. Хомяков.

Рисунок Э. А. Дмитриева-Мамонова. 1848 г.

Гос. Третьяковская галерея.

тил: «Обретается в мире призраков и фантазий». В 1840 году Белинский уже писал Константину Аксакову «о разности наших направлений».

Эти ранние отзывы Белинского злили Константина, и даже теперь, когда он дремлет на диване, они волнуют его: «Пусть они уйдут, пусть сгинут эти слепцы!.. Слепые поклонники Запада, хулители нашей само-

бытности, что они понимают?.. А Виссарион Белинский? На ложном, да, на ложном он пути... Ты не жалея меня, Виссарион! Не говори обо мне со снисхождением! Это тебя пожалеть надо...»

Константин Аксаков, еще будучи студентом Московского университета, стал известен среди передовой молодежи своими выступлениями. Он был членом философского и литературного кружка Станкевича, где, наряду с Белинским, Грановским, Бакуниным, ратовал за свободу, прогресс, против крепостного права в России. Честный, прямой, он уже тогда выделялся горячей верой в «свою правду». Она отличалась от убеждений большинства в кружке Станкевича, где, как писал потом Константин в своем «Воспоминании студентства 1832—1835 годов», господствовало «воззрение на Россию, на жизнь, на литературу, на мир — воззрение большей частью отрицательное».

С годами убеждения Константина становились все более и более непримиримыми. Находясь под влиянием немецкой идеалистической философии, Константин Аксаков в ожесточенных спорах с инакомыслящими проповедовал взгляды отвлеченные, оторванные от действительности. Он превозносил былой уклад жизни в Древней Руси, самобытность русского народа.

В 1841 году отношения Константина Аксакова с Белинским перешли в открытую вражду. Он стал одним из главарей славянофилов. Поборники русской старины, славянофилы отвергали значение для России западноевропейской культуры, которую, как они считали, насильственно насаждал на Руси Петр I. За Россией они признавали особый, одной ей присущий путь развития, в отличие от западных государств, которые развивались иначе: их путь — путь переворотов и революций. Этим духом переворотов и революций, по мнению славянофилов, была проникнута деятельность царя Петра, который стремился обратить Русь на ложную дорогу. Он лишил русскую жизнь покоя и смирения. Однако за Петром, утверждали славянофилы, пошли одни только верхние слои русского общества, народ не был затронут петровскими преобразованиями и сохранил свою самобытность. В этом, по словам славянофилов, и было его спасение. Задачей славянофилов было вернуть Россию к исконным русским формам жизни, существовавшим до Петра, — к патриархальной старине. Основу духовной жизни народа они видели в православии и монархии.

Но наряду с этим, в противовес представителям официальной народности — Погодину, Шевыреву, славянофилы осуждали царскую бюрократию, негодовали на цензуру, резко критиковали внешнюю политику правительства.

С годами приверженность Константина Аксакова догмам славянофильства все возрастала.

Между тем все более выявлялась реакционная сущность славянофилов, метко названных Белинским «витязями прошедшего и обожателями настоящего»

Славянофильство было сложным общественным течением. В нем были разные направления, разные оттенки. Среди славянофилов происходило немало идейных столкновений, разгорались споры — философские, литературные, по вопросам социально-экономическим, политическим.

Позицию Константина в славянофильстве считали наиболее радикальной. Он неуклонно восставал против крепостного права. Он даже не верил в свободу, которую крестьянин получит после отмены барщины. «Дворянство будет отставлено от должности тюремщика — с чем мы его искренне поздравляем,— пишет в 1857 году Константин Аксаков,— но крестьянин не будет выведен из тюрьмы, из одной тюрьмы он только попадает в другую...»

В письме Гоголю о «Выбранных местах из переписки с друзьями» Константин гневно восклицает: «Я укажу еще на великий проступок Ваш: на презрение к народу, к русскому простому народу, к крестьянину».

О политических взглядах Константина писал Герцен, указавший, что он «в начале сороковых годов проповедовал сельскую общину, мир, артель».

Константина Аксакова страшило не столько политическое бесправие русского народа в эпоху крепостничества, сколько этическая сторона крепостного строя. Свобода народа, по его путаной философии,— это лишь свобода духовная, свобода мысли. Константин, как пишет о нем в своих воспоминаниях Б. Н. Чичерин, «парил в облаках», не видел корней зла, против которого восставал. У него дело доходило до того, что, защищая свободу русского народа, он в 1855 году обратился к вступившему на престол Александру II с докладной запиской «О внутреннем состоянии России», в которой утверждал, что русский народ испокон веку является «первым стражем власти» и его устремления не содержат в себе «даже зерна революции или устройства конституционного». «В русской истории нет ни одного восстания против власти в пользу народных политических прав»,— писал в своем обращении к царю Константин Аксаков, искажая историю России. Он дошел до того, что вообще отрицал необходимость политической свободы для народа.

Но наряду с этим Константин по-своему, со своих идеалистических позиций, боролся за свободу слова, просвещение народа, восставал против произвола властей и угнетения народа сановной властью.

Он искренне верил в единственный путь спасения родины — «путь Древней Руси». Свою мысль он выразил в написанной в 1851 году комедии «Князь Луповицкий, или Приезд в деревню», где зло осмелял попытку навязать русскому народу западную культуру.

В комедии некий русский князь, проживший долгое время в Париже, решил вернуться на родину, в свое имение и «привить просвещение европейское» своим крестьянам. Крестьяне не понимают его и всячески сопротивляются нововведениям барина. В комедии народ показан как великая нравственная сила, которую никому не сломить.

Вера в народ, своеобразная, но искренняя, горячая любовь к родине вызвали в Константине Аксакове стремление к глубокому изучению русской истории, литературы, искусства. Он написал несколько научных и художественных произведений о Древней Руси, много способствовал собиранию народных песен, преданий, былин, созданию истории русского народного творчества. Он стал известен не только как поэт, драматург, публицист, но и как ученый, филолог, автор русской грамматики.

В поэтических образах Константина Аксакова отражены, главным образом, его политические взгляды. Даже в лирических стихах, в самых интимных переживаниях, он — проповедник славянофильских идей. В стихотворении «Идеал» поэт, «раскрывая душу», пишет:

Я не знаю, найду или нет
Я подругу в житейской тревоге,
Совершу ли священный обет
И пойду ли вдвоем по дороге.
Но подруга является мне
Не в немецком нарядном уборе...
Предстоит она в полной красе,
Обретенная сердцем заране.
С яркой лентою в темной косе,
В величавом родном сарафане.

Поэзия Константина Аксакова далеко не совершенна, но зато отличается большой искренностью и всепоглощающей любовью к России, Москве, дорогой его сердцу русской старине.

...Снова и снова слышится теперь дремлющему Константину:

Запоемте, братцы, песню славную,
Песню славную, старинную...

Но что это? Кто толкает? За что, за что?

— Да проснись же наконец!

Открыл глаза. Стоит Иван. И рядом отец. Вид у них какой-то странный.

— Будет циркуляр...— говорит отец.

— Тогда ему несдобровать! — прерывает Иван и указывает на Константина.

— Что случилось? — хриплым голосом спрашивает Константин, вскочив с места.

— Идемте!

Аксаков направляется с сыновьями в кабинет.

Какая же беда стряслась?

Нелепо, смешно. А все же беда!

Царское правительство еще в сороковых годах стало преследовать дворян, носивших старинную русскую одежду и не бреющих бороды.



Спуск к роднику на реке Яснушке.

И вот теперь снова вернулись к этому «вопросу». В старинной одежде и бороде правительство усматривало протест против петровских реформ и существующих государственных устоев.

Ждали каких-то правительственных распоряжений по этому поводу. Аксаков узнал, что преследование коснется и Константина, носившего красную рубаху и сапоги.

«Во всей России,— писал Герцен,— кроме славянофилов, никто не носил мурмолок. А К. Аксаков оделся так национально, что народ на улицах принимал его за персианина, как рассказывал шутя Чаадаев».

О Константине ходили анекдоты по Москве. Чаадаев рассказывал про случай на балу в генерал-губернаторском доме. Константин в зипуне, красной рубахе, сапогах подошел к одной знатной даме и стал уговаривать ее сменить бальное платье на сарафан. Та не понимала, чего он от нее хочет, покраснела, смутилась. Эту сцену заметил губернатор Щербатов, подошел, чтобы узнать, в чем дело. Константин стал уговаривать и его сменить мундир на зипун.

Были и другие смехотворные случаи.

Сергей Тимофеевич знал: если начнется преследование Константина, то это коснется и его самого, носившего бороду. Царская охранка воспользуется возможностью «призвать к порядку» неблагонадежного писателя.

В кабинете все трое стали составлять письмо в Петербург шефу жандармов графу Орлову. Аксаков в письме просил разрешить сыну Константину не менять костюма и сохранить бороду.

Прошло несколько дней. Ответа нет. Аксаков едет на прием к начальнику Второго корпуса жандармов генералу Перфильеву.

* * *

Полдень. У подъезда старинного дома живой монумент — великан-жандарм. Бляха у пояса начищена до солнечного блеска:

В приемной снуют в синих мундирах чиновники. Башмаки без каблуков, чтобы не слышно было шагов. Головы вытянуты вперед. Руки по швам, ладони повернуты назад. На стене портрет царя Николая I во весь рост.

У генерал-лейтенанта Перфильева начался прием.

— Господин Аксаков, пожалуйста! — говорит сидящий за письменным столом напомаженный молодой красавчик, чиновник в застегнутом мундире, и, приподнявшись, плавным, округлым движением руки указывает на массивную темную дубовую дверь.

Аксаков степенно направился в кабинет.

Генерал Перфильев, забыв имя-отчество своего посетителя, заглянул в бумагу, встал из-за стола и протянул руку.

— Прошу садиться, Сергей Тимофеевич! Курите? Настоящая «гавана»... На днях получил с оказией. Прошу!..

— Благодарствую... Докладывали его сиятельству?

— Как же, письмо ваше направил по назначению. Имел даже беседу с графом.

— Ну и что же, что сказал Алексей Федорович?

— Его сиятельство были весьма удивлены вашим письмом. Да, да, именно удивлены.

— То есть как это?

— «Передайте Сергею Тимофеевичу,— сказал его сиятельство,— что я удивлен: с чего это Аксаковы взяли, что им что-то угрожает? Сергей Тимофеевич может быть совершенно спокоен. Мы хорошо знаем его благонамеренное направление, и ему не нужно уверять меня в том, что дети такого отца, как Сергей Тимофеевич, также благонамеренны...»

— Спасибо, но...— Аксаков пытался прервать Перфильева.

— Вот скоро последует циркуляр министерства внутренних дел губернским предводителям. Государю не угодно, чтобы наши дворяне уродовали себя — носили бороды. С некоторого времени из губернии получают известия, что число бород умножилось... На Западе, извольте ли видеть, бороды — это знак, так сказать, вывеска известного образа мыслей...—многозначительно сказал Перфильев.— Вы меня понимаете?

Сказав еще несколько ничего не значащих слов, Перфильев поднялся, протянул руку.

Аксаков вышел.

Он поспешил домой, чтобы успокоить Константина, на которого было тяжело смотреть в эти дни.

— Наружность человека — это не безделица, она дает тон жизни, а тон, как известно, делает музыку...— говорил, волнуясь, Константин, не замечая комической стороны происходящего.

Наконец прибыл злополучный циркуляр. Стало ясно, что преследование Константина неминуемо.

Аксаков снова поехал на прием к генералу Перфильеву.

На этот раз дежурный чиновник уже не так предупредительно протянул руку по направлению к двери кабинета, и сам генерал Перфильев не так уж быстро поднялся навстречу. Сигарами он не угощал. Сухим тоном и даже с заметным раздражением генерал сказал:

— Борода при русском платье, скажу я вам, опаснее многого другого, если хотите знать... Это показатель вредных мыслей. Так сказать, протеста...

— Да, но позвольте, ваше превосходительство, ведь вы мне говорили, что граф Орлов передал...

— Ничего подобного. Ничего его сиятельство вам не передавал. Вы меня не так поняли. Прочтите циркуляр, и вам станет ясно.

Аксаков не сдавался:

— Тогда разрешите мне написать графу Орлову и просить его доложить мое ходатайство государю императору?

— Что вы, что вы! — замахал руками Перфильев, как будто на него

налетела туча комаров.— Разве можно? Никогда граф не станет занимать внимание его величества такой безделицей.— И уж совсем резко закончил: — Советую распоряжения правительства выполнять. До свидания.

И, на мгновение приподнявшись, не подав руки, уткнулся в бумаги.

По дороге в Абрамцево, домой, Аксаков долго не мог успокоиться.

Каково предательство! Вчера — одно, сегодня — другое. Мне ничего, но каково будет Костеньке? Для него это удар. Он станет посмешищем среди «западников». Придется закупориться в деревне и никуда не выезжать. Бедный Константин!

Аксаков послал два новых прошения: одно — Перфильеву, другое — Орлову. В них он просил дать возможность ему и сыну хотя бы носить русское платье.

Просьбы не помогли. По требованию полиции Константину пришлось сменить красную рубаху и смазные сапоги на европейское платье. Сергея Тимофеевича «не тронули».

Унизительная трагикомедия закончилась.

* * *

В московских гостиных то и дело рождались слухи и толки о чудачествах Константина Аксакова. «Бонмотисты»-остряки передавали всякие анекдоты, были и небылицы. Сергей Тимофеевич был глух ко всей этой шумихе. Но однажды и он всполошился. Дело коснулось Ивана Сергеевича Тургенева, дружбой которого Аксаков очень дорожил.

Долго помнили в аксаковской семье смятение, вызванное тургеньевским рассказом.

Началось с того, что появился рассказ Тургенева, под названием «Однодворец Овсяников». В нем был описан некий Любозвонов.

Тургенев писал:

« — А слышали про Василия Николаича Любозвонова?

— Нет, не слышал.

— Растолкуйте мне, пожалуйста, что за чудеса такие? Ума не приложу. Его же мужики рассказывали, да я их речей в толк не возьму. Человек он, вы знаете, молодой, недавно после матери наследство получил. Вот приезжает к себе в вотчину. Собрались мужички поглазеть на своего барина. Вышел к ним Василий Николаич. Смотрят мужики: что за диво? ходит барин в плисовых панталонах, словно кучер, а сапожки обул с оторочкой; рубаху красную надел и кафтан тоже кучерской; бороду отпустил, а на голове така шапонька мудреная, и лицо такое мудренное: пьян не пьян, а и не в своем уме. «Здорово, говорит, ребята, бог вам в помощь». Мужики ему в пояс, — только молча: заробели, знаете. И он словно сам робеет: Стал он им речь держать: «Я-де русский, говорит, и вы все русские; я русское всё люблю... русская, дескать, у меня душа, и кровь тоже русская...» Да вдруг как скоман-

дует: «А ну, детки, спойте-ка русскую, народственную песню!» У мужиков поджилки затряслись; вовсе одурели. Один было смельчак запел, да и присел тотчас к земле, за других спрятался... И вот чему удивляться надо: бывали у нас и такие помещики, отчаянные господа, гуляки записные, точно; одевались, почитай что, кучерами и сами плясали, на гитаре играли, пели и пили с дворовыми людишками, с крестьянами пировали; а ведь этот-то, Василий-то Николаич, словно красная девушка: все книги читает, али пишет, а не то вслух канты произносит,— и ни с кем не разговаривает, дичится, знай себе по саду гуляет, словно скучает или грустит. Прежний-то приказчик на первых порах вовсе перетрусился: перед приездом Василья Николаича дворы крестьянские обегал, всем кланялся,— видно, чуяла кошка, чье мясо съела! И мужики надеялись, думали: «Шалишь, брат! — ужо тебя к ответу потянут, голубчика; вот ты ужо напляшешься, жила ты этакой!»... А вместо того вышло — как вам доложить? — сам господь не разберет, что такое вышло! Позвал его к себе Василий Николаич и говорит, а сам краснеет, и так, знаете, дышит скоро: «Будь справедлив у меня, не притесняй никого,— слышишь?» Да с тех пор его к своей особе и не требовал! В собственной вотчине живет, словно чужой. Ну, приказчик и отдохнул, а мужики к Василью Николаичу подступиться не смеют: боятся. И ведь вот опять что удивления достойно: и кланяется им барин, и смотрит приветливо,— а животы у них от страху так и подводит. Что за чудеса такие, батюшка, скажите?.. Или я глуп стал, состарился, что ли,— не понимаю.

Я отвечал Овсяникову, что, вероятно, Любозвонов болен.

— Какое болен! Поперек себя толще, и лицо такое, бог с ним, окладистое, даром, что молод... А впрочем, господь ведает!»

Аксаков дважды тогда прочел о Любозвонове.

«Нехорошо, нехорошо поступил Тургенев,— подумал Аксаков.— Выставил на посмешище перед всеми Костеньку... А все же как талантливо написано! Читаешь — и перед глазами живой человек».

Так незлобиво думал Аксаков, сидя у себя в кабинете. Но, когда вошел в гостиную, застал там бурю. Неистовствовала Вера:

— Я вас предупреждала, что Тургенев способен любое зло сотворить! У него нет ничего святого! Он опустошенный человек. Без бога, без веры, без морали! Только он мог создать этот пасквиль, позорящий нашу семью...

— Да, поступок не этический,— холодно, но решительно сказал Иван Сергеевич.— Мало того что Тургенев высмеял самое дорогое для Константина — его любовь к русскому народу, он ясно написал, что Костя не то не в своем уме, не то глуп. На такую дерзость, конечно, нужно ответить. Как считаете, отесенька?

Аксаков помолчал и ответил:

— Знаешь, что я тебе скажу, мой друг: конечно, Тургенев дурно поступил. Он не должен был так писать о Костеньке. Но писателю никто

не может навязать свои мысли. Писатель свободен в своем творчестве и пишет о том, что видит, что подсказывает ему душа его, совесть его. Научитесь, дорогие мои, уважать чужие мнения и воззрения. Побольше терпимости!

— Нет, я не согласен с вами, отесенька. Я считаю, что пройти мимо такого оскорбления мы не можем. Я приготовил письмо Тургеневу. Прочту его, а вы скажите, можно ли послать в таком виде.

Иван Аксаков стал читать. В голосе звучала нескрываемая обида:

— «Послушайте, любезнейший Иван Сергеевич... Само собой разумеется, что под Любозвоновым вы разумели брата Константина... Для красного словца вы пожертвовали истиной... Как хотите, вы поступили не совсем согласно с вашим собственным убеждением».

Письмо было решено послать, хотя даже самому Ивану Аксакову думалось: «А ведь Тургенев, может быть, прав... Много несуразного в повадках Константина. Взять хотя бы его встречу с Герценом на Тверской. О ней сколько толков пошло по Москве...»

Рассказывали об этом так.

Несется Константин в санях по Тверской. Видит — навстречу идет Герцен. А Герцен — враг, западник... Что делать? Вот сани поравнялись с ним. Герцен кланяется. Как быть? Остановился, вышел из саней, протянул руку Герцену.

— Александр Иванович, мне было больно проехать мимо... Вы понимаете, после всего, что было между вашими друзьями и моими, я не буду к вам ездить... Жаль, но делать нечего. Я хотел пожать вам руку...

Константин идет обратно к саням, но вдруг оборачивается — видит: стоит Герцен и с грустью смотрит на него. Константин бросается к Герцену. Обнял и крепко поцеловал.

Иван почему-то вспомнил теперь все это и подумал о Костеньке: «Совсем в духе Любозвонова!.. Такая же экзальтация!..»

Герцен, вспоминая Константина Аксакова и эту встречу с ним, писал: «Аксаков остался до конца жизни вечным восторженным и беспредельно благородным юношей; он увлекался, был увлекаем, но всегда был чист сердцем».

Вскоре Иван ушел.

Вера еще некоторое время продолжала проклинать безбожника Тургенева, которого должна постичь кара господня. Потом все разошлись.

Аксаков остался один. Он все спрашивал себя: так ли уж неправильно поступил Тургенев?

Две встречи рассеяли многие его недоумения.

* * *

Нежданно-негаданно приехал к Аксакову в Абрамцево Шевырев. Профессор Московского университета, критик, он вместе с Погодиным стоял во главе самого реакционного течения в славянофильстве — «офи-



Родник на реке Яснушке.

циальной народности». Их девиз — «православие, самодержавие и народность».

— Был в лавре. Какая служба, Сергей Тимофеевич, какое благолепие!..— начал беседу Шевырев.— А возвращаясь, подумал: «Заеду я к Сергею Тимофеевичу. Ведь это рукой подать. Давно не видались — соскучился. Осведомлюсь о здоровье...»

— Бог милует пока, Степан Петрович. Благодарствую.

— А пение в соборе! — продолжает Шевырев.— Особенно басы. Вы знаете, получается сильнее всякого органа. Какая гармония!

— Наслышан, наслышан, Степан Петрович.

— Только наслышаны? Так близко живете и не бываете в лавре? Ай-ай-ай!..— сокрушался Шевырев.

Аксаков слушает и все ждет, чтобы Шевырев сказал наконец о цели своего приезда. А он сидит, потирает руки и ведет разговор о всякой всячине. Говорит мягко, елейным голосом, а что к чему — понять труд-

но. Вытирает пот со лба носовым платком, хотя не жарко; стало быть, от волнения.

Аксаков ждет. Шевырев помолчал, посопел, а потом, улыбнувшись, спрашивает:

— Кончаете уже свою повесть, Сергей Тимофеевич?

— Какую?

— «Семейную хронику».

— Кто вам сказал?

— Ну что вы! В Москве ждут не дождутся, когда выйдет в свет.

— Так-таки и ждут?

— Не смейтесь, Сергей Тимофеевич. Русский народ хочет увидеть наконец подлинную картину своего отечества. Мы хотим лицезреть не только гоголевских персонажей, а настоящих полнокровных русских людей...

— Ну, вы тут, Степан Петрович, малость преувеличиваете. Сами знаете: Гоголь — великий писатель, гордость России, а я...

— Нет, нет, Сергей Тимофеевич, не скромничайте! Надо смотреть правде в глаза. Гоголь пришел к тому, что стал отрицать всё и вся, а в ваших произведениях образы правдивые, прекрасные. В них, как в зеркале, отражается величие Руси...

— Да что вы в самом деле! Разве Гоголь не показал нам Россию в «Ревизоре», в «Мертвых душах»? Так показал, что страшно стало...

— Вот в том-то и дело, что страшно. А нам нужно, чтоб не страшно, а радостно было... Именно радостно за великую нашу матушку-Русь, коей богом предназначена особая светлая судьба,— стал говорить Шевырев.— Вот у вас, Сергей Тимофеевич, в отличие от Гоголя, другое направление чувствуется...

— Да разве можно мне сравниться с Гоголем, что вы?..

А Шевырев как будто не слышит возражения, раскраснелся, разволновался и продолжает:

— Вы создали новое направление в литературе. Мы его всячески должны развивать. Вы по-новому, как верный сын отечества, показываете нашу замечательную природу, нашу родину... Это подлинное, исконно русское направление... Вы, Сергей Тимофеевич, яркий, талантливый выразитель наших чаяний...

«Что за чертовщина? — думает Аксаков.— Чьих чаяний? Откуда взялось подобное?»

Но чем больше говорил Шевырев, тем яснее становились истинный смысл и цель его приезда.

В словах Шевырева послышались давно знакомые разглагольствования Константина о русской старине, об особом пути, предназначенном для России, о русских людях, отмеченных божьей благодатью, которых следует показать в литературе. В речи Шевырева все чаще и чаще стали звучать слова: «мы решили», «мы признаем», «наша цель заключается в том»...

Аксаков предложил гостю чай.

Шевырев заторопился и откланялся.

Прошло немного времени, у Аксакова уже притупилось впечатление от разговора с Шевыревым, как приехал Хомяков. Краса и гордость славянофилов!

Хомяков не раз бывал в Абрамцеве. Приедет, поговорит с Константином и Верой о боге, христианстве, русском народе-страстотерпце... Побеседует, выпьет чай с малиновым вареньем и уедет. На сей раз он без околичностей сразу с глазу на глаз с Сергеем Тимофеевичем заговорил о «великом призвании» Аксакова. И, как всегда, глаза его горят, весь он напряжен, натянута как струна. Откуда такая сила, такое вдохновение в этом хилом, тшедушном человеке?

— Да поймите же, добрейший Сергей Тимофеевич, что художник призван изображать виденное в высоком поэтическом звучании, а не только отрицать, критиковать и принижать высокое...— говорил Хомяков.

— Что вы, Алексей Степанович!

— Да, да, и удивляться вам нечего, а в полном сознании своего призвания вы должны знать, что пролагаете новые пути в русской литературе.

— Из пушек по воробьям, Алексей Степанович! — улыбнулся Аксаков.— Это я-то, грешный, обязан новые пути открывать в искусстве? Увольте, стар я, хвор. Где мне с этим справиться?

— Вы не смейтесь, Сергей Тимофеевич. Ничего тут нет смешного! — обидчиво и даже с некоторым запалом не сказал, а прокричал взволнованный Хомяков. Но он тут же овладел собой и спокойно продолжал: — Сами рассудите: ведь Гоголю не удалось художественно подчинить своих осмеянных людей высшему духовному началу. А у вас светлый взгляд на русскую действительность... И вы волею судеб становитесь во главе нового направления в литературе...

Аксаков выслушал Хомякова, покачал головой, улыбнулся и, взяв его нежно под руку, подвел к окну.

— А деньки-то какие стоят! Один другого светлее. Хотя осень нынче ранняя...— сказал Аксаков, глядя в сад. Помолчав, добавил: — Нет, Алексей Степанович, Гоголь был, есть и будет великим писателем действительности. Мы все учиться должны у него... Может быть, это бесцветно, но я откровенно скажу вам: я чужд всех исключительных направлений...

Хомяков, прощаясь, многозначительно сказал:

— Мы еще потолкуем.

Аксакову был неприятен приезд Шевырева и Хомякова и их речи. К ним он не был подготовлен. Почему его не предупредил Константин? Он несомненно знал обо всем.

Поведение Константина, неистового в своих сектантских славянофильских устремлениях, иногда раздражало Аксакова и вызывало его

резкое осуждение. Несмотря на близость к кругам славянофилов и личные многолетние дружественные связи с видными деятелями славянофильства, Аксаков всегда оставался самим собой — неизменным приверженцем творчества Гоголя и Тургенева, всего реалистического искусства.

Попытки славянофилов провозгласить Аксакова главой «нового направления» в литературе встретили с его стороны отпор.

Так, преодолевая одно препятствие за другим, Аксаков продолжает свой вдохновенный творческий путь.

* * *

Аксаков потянулся к лежащей на столе рукописи. И остановился... Как писать без Веры? Диктовать ведь некому. А Вера рано утром уехала в монастырь. Игуменья прислала за ней.

Что же делать? Как быть? Сколько еще надобно написать, а время — где его возьмешь? — уходит... Торопиться надо, работать, работать!.. Не попробовать ли самому?

И Аксаков, напрягая остатки уходящего зрения, стал писать. Вначале это было трудно — буквы расплывались в тумане, строчки залезали невесть куда, а потом он приспособился, и дело кое-как пошло. Аксаков снова стал переделывать главу из «Семейной хроники».

Перед ним лежит первый отрывок — приезд Багрова на новое место. Глаза бегут по строчкам, написанным рукой Веры.

Аксаков вносит исправления. Когда же он дошел до того места, где описывается постройка мельницы на реке Бугуруслане и словно воочию увидел, как свыше ста крестьян собрались запрудить реку, Аксаков остановился. Прочел еще раз. Призадумался... И решительно перечеркнул написанное.

Вошел Иван, приехавший только что из Москвы.

— На ловца и зверь бежит! — воскликнул Аксаков и бросил перо.

Появление сына — большого знатока литературы, а главное, тонкого стилиста — вызвало чувство какой-то радостной уверенности. Помощь сына в творческих делах Сергея Тимофеевича всегда была плодотворной.

— Хорошо, что не на охотника — убил бы!

— Разве я детоубийца? Ну да ладно! Раз остался жив, сядь, Ваня, помоги старику отцу, попиши под диктовку. Вера с утра уехала.

— С удовольствием!

— Вот видишь, как хорошо!

— Вам нельзя, отесенька, напрягать зрение. Доктор Овер предупредал, а вы...

— Что поделаешь, дружок: стар я, времени в обрез осталось, а работы много... Тут я переделываю главу одну...

— Снова?



В тени старого парка в Абрамцево.

— Чем больше, тем лучше. Но не в этом теперь суть. Прочел я отрывок о постройке мельницы на Бугуруслане, и показался он мне уж очень немощным, хилым, бесцветным... В нем все есть: и бушующая река, и ветер, и прибрежные кусты, и травы, а людей нет...

— Хотите описать распорядительность Степана Михайловича Багрова?

— Нет. Хочу показать крестьян.

Иван внимательно посмотрел на отца. «Что он затевает, наш отеценька?»

— Хочу этим описанием ответить некоторым господам критикам, которые не переставая вопят: «Аксаков-де жизни не знает, все выдумывает».

— Старый, испытанный прием ретроградов. Расчет у них тонкий: если писатель прошлым не восторгается и с настоящим не мирится, значит, сочинение не достоверно.

— Вот, вот. Они и говорят: картины прошлого у Аксакова не верны. Ну что ж, попытаюсь показать подлинную Русь, покажу, какая сила заложена в народе.

Иван приготовился писать. Переделывая отрывок, Сергей Тимофеевич диктовал:

— «Все это производилось с такою быстротою, с таким общим рвением, непрерывным воплем, что всякий проезжий или прохожий испугался бы, услышав его, если б не знал причины. Но пугаться было некому; одни дикие степи и темные леса на далекое пространство оглашались неистовыми криками сотни работников, к которым присоединялось множество голосов женских и еще больше ребячьих, ибо все принимало участие в таком важном событии, все суетилось, бегало и кричало. Нескоро сладили с упрямой рекой; долго она рвала и уносила хворост, солому, навоз и дерн, но наконец люди одолели, вода не могла пробиться более, остановилась, как бы задумалась, завертелась, пошла назад, наполнила берега своего русла, затопила, перешла их, стала разливаться по лугам, и к вечеру уже образовался пруд, или, лучше сказать, всплыло озеро без берегов, без зелени, трав и кустов, на них всегда растущих; кое-где торчали верхи затопленных, погибших деревьев. На другой день затолкла толчея, замолела мельница — и мелет и толчет до сих пор...»

Аксаков прочел написанное и, как всегда, остался недоволен.

— Неужели опять переделаете?

— Ну и что же? Завтра посмотрю: если сыро, нельзя будет оставить, надо будет обжечь. Гоголь, бывало, раз десять переделает, а потом покажет мне, почитает вслух, спросит моего совета и снова исправляет. Нельзя забывать, что книга имеет могучую силу. Она предназначена обществу, может быть, даже потомству. Книга требует честности от сочинителя. Одна фальшивая нота может вызвать недоверие, и тогда цель утеряна... Вот, скажем, Степан Михайлович Багров — он правду любит,



Окно комнаты дочерей Аксакова в Абрамцево.

охотно поможет человеку, если тот заслужил, но Степан Михайлович бывает лют, как дикий зверь, и тогда пощады не ищи у него. На то он человек живой, с пороками и добродетелью. Его таким и надо показать.

— Как же разобраться в нем? Как поймет его читающая публика? — спросил Иван.

— Поймут люди. Читатели умнее, чем часто думают о них. Ты им покажи жизнь правдиво, честно. Разберутся: что темное, а что светлое; что правда, а что ложь.

Аксаков безжалостно переделывал только вчера написанные картины природы в новом имении Багрова. Он усиливал краски. Светлее, ярче становились заволжские просторы, разливы рек, «подобные морям», расцвет земли...

— Какой контраст получился! — сказал, оторвавшись от работы, Иван. — Какая резкая разница в описаниях жизни Багровых и окружающей природы!

— Ничего, пусть барщина станет еще чернее от ярких, радостных красок природы.

— А цензура?

— Глупа. Многого не увидит. Они могут вычеркивать в моих рассказах об охоте слова «свободный», «свобода», могут запретить целые главы из «Семейной хроники», могут заставить меня по три, четыре, пять раз переделывать одно и то же в книге, могут резать, уродовать, но скрытой мысли им не уловить...

Аксаков стал читать исправленные страницы.

* * *

На следующий день утром Вера, как всегда, вошла в кабинет к отесеньке, чтобы писать под диктовку. Но застала у отца художника Трутовского, приехавшего накануне в Абрамцево.

Трутовского, женатого на племяннице Ольги Семеновны Аксаковой, любила вся семья. Сам Сергей Тимофеевич очень ценил даровитого художника и в свое время поручил ему сделать иллюстрации для «Охотничьего сборника».

Впоследствии К. А. Трутовский прославился своими иллюстрациями к гоголевским произведениям, басням Крылова, стал известным художником, с 1861 года — академиком.

Художник часто обращался к Аксакову за советами, ценил его суждения в искусстве, хотя во многом расходился с ним. На этот раз Трутовский привез свои новые рисунки и ждал оценки.

— Вот видишь, Верочка, — обратился Аксаков к вошедшей дочери. — Он опять мне зимний пейзаж принес.

— Ну и что же? Дело не в сюжете, а в мастерстве... — ответила Вера.

— Нет, дорогие мои, я ненавижу холод. Он несет не жизнь, а смерть всему живому.

Трутовский не соглашался и ссылаясь на Пушкина, даже прочел о зиме из «Евгения Онегина». Но Аксаков не сдавался. Тогда Трутовский привел последний и решительный довод:

— А вспомните, Сергей Тимофеевич, ваш «Буря» — очерк о снежной метели в степи.

— Ну и что ж?.. Нет, знаете, все мои птицы и рыбы не любят холода. Слишком я стар и хвор для зимней поэзии.

Вера, посидев немного, ушла. Аксаков снова стал рассматривать лежащие перед ним на столе рисунки.

«Играет Сергей Тимофеевич комедию, часто говоря о старости,— подумал Трутовский.— Недаром театралом слывет. Какой же он старик, да еще хворый?! Нашлись же у него силы, чтобы на склоне лет выпускать книгу за книгой, да какие! И не только о птицах и рыбах пишет Аксаков. Я знаю: в новой его книге, в «Хронике»,— люди, события, там показана целая эпоха... И крепостное право, и беззаконие, и произвол..»

Трутовский несколько взволнованно спросил:

— Скоро ли закончите, Сергей Тимофеевич, вашу «Семейную хронику»?

— Нет, не скоро.

— Почему?

— Надо показать живых людей, а это очень не просто. Каждый человек — это целый мир. В каждом — и добро, и зло, и любовь, и ненависть, и эгоизм.

— Но не все же одинаковы. Скажем, крестьяне и помещики... Неужели нет разницы?

— В этом смысле, по-моему, разницы нет.

— Неужели вовсе нет? Между помещиком и крепостным?

— Вы говорите о другом...

Трутовский, продолжая развивать свою мысль, перебил:

— Я говорю о главном! Да, если хотите, о другом. О закрепощении человека! О том, что крестьянин себе не принадлежит.

— Вы говорите о барщине? Я ненавижу ее с самых малых лет... Это постыдное зло нашего времени!

— Вот, вот, об этом я и говорю! Да, наконец, у вас самого это сказано лучше, чем у кого-либо. Жаль, что ваша «Хроника» еще не издана. Хорошо помню отрывок, который вы нам читали: перевод Багровым крестьян из Симбирской губернии, из их родных мест, куда-то в уфимское наместничество только потому, что он, Багров, изволил туда переехать! Перевод целой деревни! Что может быть ужаснее!

— Да поймите же наконец,— с раздражением ответил Аксаков,— ведь разговор идет у нас сейчас о другом... О человеке! Независимо от его сословия, от барщины, от крепостного права... От чего вам будет угодно... Я говорю о добре и зле в человеке, о любви и эгоизме...

Помолчав, он добавил:

— Тут я не объявляю приговоров. Я не судья. Пишу, что вижу.

Трутовский хотел возразить. Получалось что-то не то! Так ли надо показывать людей?! Как можно, говоря о крестьянах и помещиках, не противопоставлять их, не говорить о пропасти между ними? Ведь только давеча за столом у Аксаковых рассказывали, как крестьяне жгут помещичьи усадьбы... Но, видя раздражение Аксакова, Трутовский перевел разговор на другую тему. Снова заговорили об искусстве.

— Знаете, друг мой,— сказал Аксаков,— только искусство, которому поклоняюсь, как язычник, дает мне на старости утешение и отраду.

— И славу,— подхватил Трутовский.

— Какую славу?

— Вашу, Сергей Тимофеевич! Давеча, мне передали, приехал из Тегерана Еремеев. Слышали о нем? Он семь лет пробыл там генеральным консулом. Рассказывает, что шах персидский заинтересовался вашей книгой и велел перевести ее на персидский язык. Оказалось, что шах — охотник и рыболов. Следит за литературой о природе.

Трутовский хотел было подробно рассказать о столь необыкновенном знакомстве с книгами Аксакова даже в Персии. Но в кабинет с шумом вбежали Наденька и Марихен. Они стали тормозить Трутовского — просили сделать виньетку в новом альбоме для стихов. Трутовский ушел с ними.

Вернувшись, Вера заняла свое место за столом. Сергей Тимофеевич просмотрел написанное накануне и начал диктовать.

Работа продолжалась до обеда.

Вскоре произошло событие, потребовавшее нового напряжения сил Аксакова.

Москва готовилась к юбилею Щепкина — пятидесятилетию его сценической деятельности. Предстояло общественное признание нового молодого реалистического театра, пришедшего на смену отжившему классическому. Торжество реалистического искусства — это торжество Гоголя, Белинского, Щепкина, Аксакова.

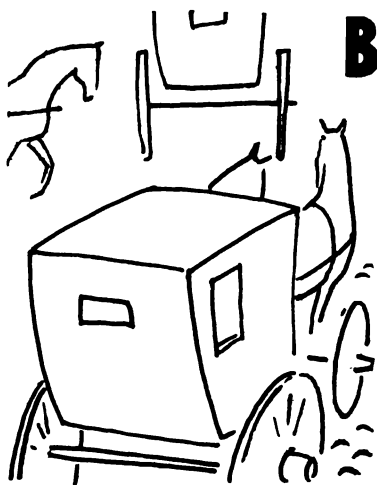
Сергей Тимофеевич принял горячее участие в подготовке праздника. Он готовился выступить с большой статьей о творчестве Щепкина.

Его статья о Щепкине и их предстоящая встреча накануне юбилея должны были явиться как бы итогом длительной упорной борьбы Аксакова за новый русский реалистический театр.

Сергей Тимофеевич весь поглощен мыслью о юбилее. Ему уже не сидится дома. Он решил ехать к Щепкину.

Публикой правит актер.

Гоголь



В АБРАМЦЕВЕ Щепкин завсегда. У Аксаковых не было ни одного семейного праздника, на котором не присутствовал бы Щепкин. Но и в Малом театре не было ни одной премьеры с участием Щепкина, чтобы в зрительном зале не сидел Аксаков. Дружба Аксакова и Щепкина продолжалась свыше тридцати лет.

Весть о готовящихся торжествах, посвященных юбилею Щепкина, взбудоражила весь аксаковский дом.

Сергей Тимофеевич собирался ехать к Щепкину, но в последнюю минуту передумал, сел за стол и написал ему письмо, прося приехать в Abramцево.

Предстоял серьезный, обстоятельный разговор, а обстановка в щепкинском доме не способствовала этому. Аксаков представил себе, как все произойдет, если поедет к Щепкину.

...Выйдя из коляски, остановившейся у большого дома в Химках, где летом жил Щепкин, Аксаков увидел бы издали приближающуюся знакомую фигуру. Показалось бы, что на него катится огромный шар. Аксаков не раз думал: говорят, что сценическая внешность решает

успех актера, а вот возьми — Щепкин и ростом не велик, и тучен, а каков на сцене!

Щепкин — в широкополой шляпе, в руке толстая трость. Быстрым, энергичным шагом он идет навстречу.

«Из трактира?» — спрашивает Аксаков.

«Само собой. Сидели, чай распивали с петербургским актером... Милости прошу, заходите, пожалуйста!»

Входят в дом. В комнатах хаос. Шум. Кто-то о чем-то громко спорит. Кто-то поет. В большой комнате с выходом в сад накрыт длинный стол. На полу огромный пуховик; на нем сидит одна из двух сестер Щепкина, девица весьма пожилая, с чубуком во рту. Семья — из двенадцати душ, да еще приживалки. У Щепкина живут сироты умершего Барсова, антрепренера Курского театра, где Щепкин впервые выступил на сцене. На средства Щепкина жила не одна семья состарившихся актеров. Навстречу выходит старшая дочь Щепкина — начинающая актриса, подающая надежды. Ее сценическое дарование отметил Белинский. Тут неминуемо завязался бы разговор с ней о театре. Присоединились бы другие собеседники. И все пошло бы вкривь и вкось...

Представив себе все это, Аксаков предпочел вызвать Щепкина в Абрамцево.

Стоило раздаться отдаленному звону бубенцов, как у крыльца, откуда ни возьмись, уже вертятся в нетерпении Наденька и Марихен.

Едва Щепкин вышел из кареты, как они увлекли его в глубь тенистой аллеи, и он был водворен на скамейку.

С двух сторон Наденька и Марихен стали теребить Щепкина:

— Сказку, сказку, сказку!

— Про сороку-воровку?

— Нет, нет! Новую!

— Про кошку?

— Новую, новую, новую!..

— Так и быть, о прянике расскажу.

Притаились, замолкли.

Щепкин стал рассказывать о прянике «длиною в полтора аршина и шириною в целый аршин». Но это была не сказка, а быль. Щепкин рассказал, как некий самодур-городничий велел изготовить, на удивление своим гостям, исполинский пряник, которым угостил их по случаю первого дебюта Щепкина. Сколько горя принес ему, в то время крепостному дворовому мальчику Мишке, этот пряник! Его барин, граф Волькенштейн, узнав про успех своего крепостного, надолго запретил ему выступать у чужих людей.

И вот тут началась сказка. Мальчик Мишка попал в плен к прянику. Пряник разрастался. Чем длиннее и шире становился пряник, тем больше горя приносил Мишке. Но нашлась такая фея-волшебница, такая сила сильная, которая освободила мальчика. Сила эта — великое искусство...



Михаил Семенович Щепкин.
Литография с рисунка Екатерины Раевской.
Музей-усадьба «Абрамцево».

Щепкин не успел окончить рассказ. На аллее показался Аксаков. Он позвал его к себе.

Вскоре они уже сидели в креслах друг против друга. Аксаков сказал:

— Хотел бы поговорить с вами, Михаил Семенович, о юбилее, о пятидесятилетии вашего служения на театральном поприще... Собираюсь писать статью...

— Стоит ли, Сергей Тимофеевич?

— Очень даже. Ведь ваша жизнь — это зеркало, в котором отражается история русского театра.

— Зеркало уж больно мутное! В нем черт знает что отражается! Очень уж нескладна была моя жизнь. Иной раз вспомнишь и сам удивляешься: как это могло случиться, что в те жестокие времена я сумел выйти в люди? А время было, сказать без преувеличения, чудовищное... Помню в Курске, когда я учился в народном училище и, будучи крепостным, имел дерзость стать первым учеником, произошел со мной такой случай...

У Щепкина много ярких воспоминаний, неистощимый запас увлекательных рассказов, сказок и преданий о былом. Это Щепкин передал Герцену сюжет «Сороки-воровки» — повести о трагической судьбе крепостной актрисы. Щепкин рассказал Гоголю, как у старухи помещицы пропала кошка и как старуха, увидев в этом грозное предзнаменование, умерла. Гоголь использовал рассказ Щепкина в своей повести «Старо-светские помещики».

Говорили, что при встрече с Гоголем Щепкин напомнил ему:

«А кошка-то моя!»

Гоголь, рассмеявшись, ответил:

«Зато коты мои!»

Аксаков слушал Щепкина, хотя не за тем позвал его теперь к себе.

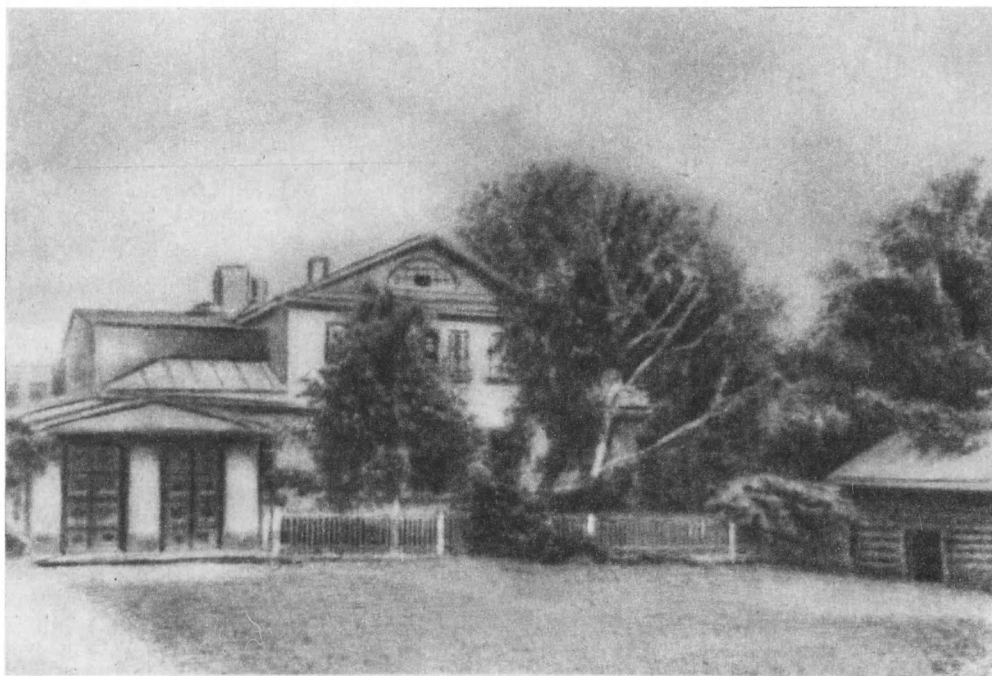
— Меня в Курске многие уже знали,— продолжал Щепкин.— Называли не иначе как «милый Миша», «умный Миша». Меня даже гладили по головке и ласково трепали по пухлым щечкам. В Курске в то время стоял полк. Командир полка, князь, был с бариним моим, графом Волькенштейном, в коротких отношениях. Когда летом, в день своего рождения, командир вздумал дать обед в лагере, то просил Волькенштейна прислать людей для услуг. Меня послали в лагерь. Попав туда, я пошел по палаткам знакомых офицеров. Захожу в одну палатку. Слышу спор: один из офицеров держит пари на пятьсот рублей, что у него в роте солдат Степанов выдержит тысячу палок и не упадет.

Услышав это, я был потрясен, но постарался скрыть волнение.

Послали за солдатом. Явился мужчина, широкоплечий, костистый. Офицер говорит ему не строгим голосом, а как будто дружески предлагает:

«Степанов! Синенькую и штоф водки — выдержишь тысячу палок?»

«Рад стараться, ваше благородие!»



Дом М. С. Щепкина в Москве
Старинная фотография.

Мне казалось, что я обезумел. Я незаметно вышел из палатки. Степанов тоже вскоре вышел оттуда. И, когда он проходил мимо меня, я не утерпел и спросил:

«Как же ты, братец, на это согласился?»

«Эх, парнюга, все равно даром дадут!» — ответил он, махнул рукой и пошел как ни в чем не бывало.

Я бросился в палатку князя, командира полка. А там уже было много гостей. Как балованный всеми мальчик я хожу по палатке и улыбаюсь. Князь, погладив меня по головке, спросил:

«Чему ты, милый Миша, смеешься?»

«Меня, ваше сиятельство, рассмешили ваши офицеры».

И тут я рассказал забавную шутку об их пари. И, поверите ли, все это было принято с хохотом: «Ах, шалуны!» А некоторые восторгались: «А! Каков русский солдат? Молодец!»

И только одна дама, Александра Абрамовна Анненкова, сказала князю:

«Князь, пожалуйста, хоть для своего рождения прикажите... Право, жалко... все-таки человек...»

Тогда князь сказал мне:

«Миша! Поди позови сюда шалунов!»

Я побежал. Когда офицеры вошли, князь сказал им:

«Что вы, шалуны, там затеяли какое-то пари? Ну, вот дамы просят оставить это. Надеюсь, что просьба дам будет уважена». Вот какое наше хваленое время было!

— Это даже хуже Куролесова из моей «Семейной хроники», — сказал Аксаков. — Истязания, кровь! Зверство!

Аксаков вздохнул, стал шарить по карманам, разыскивая и все никак не найдя портсигара, а он лежал перед ним на столике. Наконец увидел его, взял сигару, закурил.

— Зверство-то зверство, а корень где? Рубить надо под корень! — заметил Щепкин.

Помолчав, он продолжал рассказывать о своем прошлом, о первых шагах на сцене.

Много пришлось пережить крепостному актеру. Пристал было к кочующей труппе и пошел бродить по многоверстным трактам, по бездорожью. В осеннюю распутицу, в трескучие морозы брели голодные актеры. Но тут вдруг блеснула надежда. Попали в Полтаву. Случайно на первом спектакле присутствовал генерал-губернатор князь Репнин. Увидев на сцене Щепкина, Репнин был поражен его игрой и наутро позвал к себе. Узнав, что Щепкин — крепостной графа Волькенштейна, Репнин написал письмо с просьбой продать ему Щепкина. Графиня согласилась, но назначила цену дворовому человеку Щепкину «восемь тысяч рублей серебром». Началась купля-продажа. Князь Репнин считал цену дорогой и просил сбавить до четырех тысяч. Но графиня стояла на своем: восемь, и ни копейки меньше! Репнин решил провести подписку среди купцов и чиновников Полтавы. Наскребли тысяч пять, остальные добавил свои. Но вскоре Репнин остыл к искусству и перестал интересоваться Щепкиным. Спустя много лет Щепкин собрал с трудом три тысячи и вернул их Репнину.

Исколесив всю Россию, Щепкин попал в Москву. Здесь и засияла слава великого актера.

— Мне не раз говорили — пиши воспоминания, — сказал Щепкин. — Но ведь не такая я персона, чтобы мемуарами заниматься. Кому интересно будет читать про жизнь актера? Мы, актеры, как мотыльки. Когда живем — публика любит нас, смеется, плачет вместе с нами. А сошел со сцены актер — как умер человек, и о нем забыли, и все его искусство ушло вместе с ним. У нас, актеров, судьба иная, чем у вас, у писателей, или живописцев, скульпторов. У вас наследство иногда веками живет...

— Нечасто это бывает.

— Так вот, дорогой Сергей Тимофеевич: если бы не Пушкин, я бы никогда не стал описывать свою жизнь. А он взял лист чистой бумаги



Екатерина Семенова — замечательная русская актриса.

Гравюра Н. Уткина с рисунка О. Кипренского.

Музей-усадьба «Абрамцево».

и своей рукой написал: «Записки актера Щепкина. Я родился в Курской губернии, Обоянского уезда, в селе Красном, что на реке Пенке...» И велел продолжать. Пришлось писать. Если великий Пушкин придает значение запискам Щепкина, значит, нужно писать. Нужно рассказать, как сынишка Семена Григорьевича Щепкина, крепостного человека графа Волькенштейна, дворовый мальчик Мишка, поднялся до такой

высоты, что мог состязаться со знаменитым трагиком Тальмой и, как говорят, даже победить его в пьесе Делавиня «Урок старикам»...

В игре Щепкина Аксаков один из первых увидел начало нового, реалистического направления в театре.

В борьбе за новое искусство Аксаков не щадил признанных знаменитостей. Он дерзнул даже выступить против Каратыгина — кумира петербургской публики, да и не только петербургской, а, так сказать, всероссийской. Для этого требовалось много смелости, а по условиям того времени — даже гражданского мужества. Каратыгина почитал сам царь. Аксаков указал на недостатки игры Каратыгина: заученные актерские приемы, напыщенность, стремление любыми средствами вызвать одобрение у публики, неумение раскрыть психологическую глубину героя. Аксаков беспощадно разоблачил всю искусственность ложноклассического театра.

Театральные рецензии Аксакова — это глубокий анализ сценического искусства, подробное исследование актерского мастерства, раскрытие идейного содержания пьесы. В Петербурге во время гастролей известной французской драматической актрисы Луизы Аллан-Депрео, покорившей сердца столичных театралов, один Аксаков резко критиковал ее игру, увидев главный недостаток приезжей знаменитости — отсутствие в ее игре живого чувства, жизненности, правды. После спектакля он писал жене: «Нет, не могу я восхищаться мадамой Аллан: истинного чувства мало, а плаксивость — не чувство. Искусство ее не так велико, чтобы не видно было швов на этом шитье».

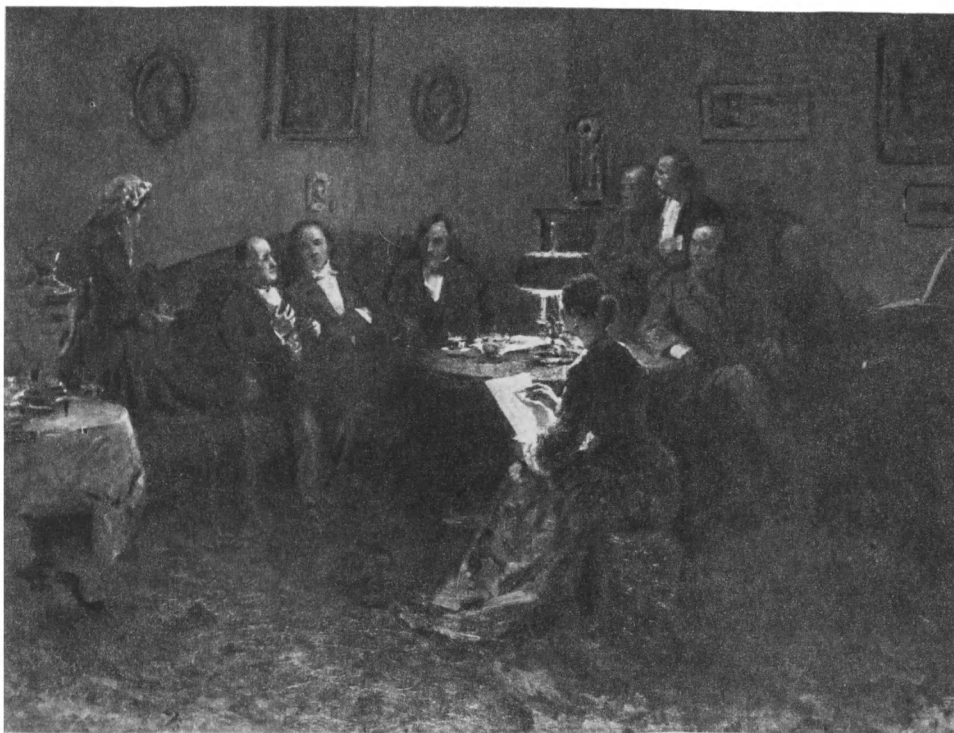
Аксаков видел «волшебное могущество драматического искусства». «Театр — не безделица, — писал он. — Это сила, влияющая «на ход образования и нравственности человеческой». В статье «Мысли и замечания о театре и театральном искусстве» он требует для русской сцены нового репертуара, правдивой игры актеров, глубокой трактовки ролей. Аксаков создает новую эстетику театрального искусства. Его статьи и театральные рецензии вошли в историю театра как ценный вклад.

Аксаков не только выступал со статьями о театре — главным образом в «Московском вестнике», — но попросту помогал актерам создавать роли, да таким актерам, как Щепкин, Мочалов. Повелось уж так, что из Малого театра часто обращались к нему за помощью, если «что не ладилось с ролью». Советам Аксакова следовали не только актеры, но и режиссеры, художники-декораторы, авторы. Гоголь пользовался указаниями Аксакова, когда ставились «Женитьба» и «Ревизор».

Высоко ценя Щепкина как актера-реалиста, Аксаков много содействовал его успеху.

Вспоминая спустя много лет об игре известной актрисы Е. С. Семенов и о репетициях, которые Аксаков проводил с нею, он писал:

«Это был величайший талант без всякого искусства, а поставленный глупыми учителями на ходули французской декламации и выученный реветь по-коровьи; она играла все роли без смысла в целом, но зато вы



Литературный вечер у Аксаковых. На картине изображены: О. С. Аксакова (с чашкой чая); на диване М. С. Щепкин, Т. Н. Грановский и Н. В. Гоголь; возле часов В. Г. Белинский и К. С. Аксаков; за роялем А. Н. Верстовский; у стола С. Т. Аксаков и Вера Аксакова.

Картина В. А. Дрезниной. 1955 г.

Музей-усадьба «Абрамцево».

рывались такие места, что у меня падала роль из рук, когда я репетировал с ней пьесы; в ее голосе были такие мелодические, чарующие звуки, что если б она произносила китайские слова, то смысл сердечного чувства проник бы в каждое человеческое сердце».

Аксаков требует от актера такой игры, чтобы даже зритель, не знающий языка, был бы покорен «по выразительности голоса, лица, телодвижений; даже глухой — по двум последним; даже слепой — по одному первому...»

Аксаков боролся не только за реалистический, но за народный театр:

«...Надобно создать новый театр, народный,— писал в 1830 году Аксаков.— Все рамки и условия к черту! Начать с низкого рода, с низ-

шего сословия... Теперь надобно явиться русскому Шекспиру, путь готов, указан неудачами других, он сделает чудо...»

Смелые мысли Аксакова о театре вызвали горячие споры.

Долго были памяты в Москве известные «аксаковские субботы». В двадцатые годы каждую субботу вечером съезжались к Аксаковым писатели, актеры, музыканты, многие ревнители литературы и искусства. Читались новые произведения, обсуждались театральные постановки, спорили до поздней ночи. Дом Аксаковых был центром литературной и артистической Москвы. Об «аксаковских субботах» друг Аксакова М. А. Дмитриев написал в 1855 году стихотворение «С. Т. Аксакову»:

Ты помнишь, как к тебе съезжались
Мы в старину по вечерам,
Чем мы в беседах занимались?
Что было первой целью нам?
На чем вертелись разговоры?
О чем бывали наши споры?..
Поэзия — она, она
Была предметом нам одна!
С какой отвагой благородной
Ценили мы, что превосходно!
Как отвергал наш верный суд
Пустой натуги пошлый труд!

...Щепкин засиделся у Аксакова. Много рассказывал о прошлом. Нahlынули воспоминания. Ведь Щепкин — это целая полоса жизни Сергея Тимофеевича. Встретились в Малом театре, когда он с молодым задором стал смело ломать обветшавшие устои старого театра. И теперь, готовясь к пятидесятилетнему юбилею Щепкина, Аксаков, словно мысля вслух, говорил Щепкину:

— У нас в театре еще много выпренности, пустой декламации... Их надо гнать прочь!..

— Побольше чувства в игре, не так ли? — подхватил Щепкин.

— Не только чувства, но и мысли. Нужны знания и труд. Один талант без знаний — вспышка, фейерверк. Он быстро гаснет.

— А вдохновение?

— Вдохновение и труд — путь к совершенству. А главное — правда жизни. Не так ли, Михаил Семенович?..

Заканчивая беседу, Аксаков проникновенно сказал:

— Вы — наша радость в искусстве!

— Нет, Сергей Тимофеевич, только полрадости, — улыбнулся Щепкин.

— Как так?

— Очень просто. Вторая половина — ваша.

— Откуда вы взяли?



Москва. Мясницкая (ныне ул. Кирова). Здание Училища живописи, ваяния и зодчества, в котором 26 ноября 1855 года праздновался 50-летний юбилей М. С. Щепкина.

Литография.

Музей-усадьба «Абрамцево».

— Из вашей биографии.

— Ну и хватил!..

Наступило время обеда, и гость с хозяином прошли в столовую.

Начался веселый, шумный аксаковский обед.

* * *

Залы Училища живописи, ваяния и зодчества, где праздновали юбилей Щепкина, были переполнены. Собралось больше двухсот человек — вся литературная и театральная Москва. Прибыла делегация артистов из Петербурга. На Мясницкой у подъезда стояла вереница карет. Прохожие спрашивали:

— Чья свадьба?

— Юбилей!

— Архиерей приехал?

— Прошу не останавливаться! Проходите, господа! — суетился квартальный.

К подъезду подъезжали всё новые кареты.

Начинался торжественный обед. Первым на обеде выступает Константин Аксаков. Он читает приветствие отца. Сергей Тимофеевич из-за зубной боли не мог присутствовать на торжестве: за ночь опухла щека и ехать нельзя было. Константин читает выразительно, с чувством.

Щепкин растроган. Во время чтения плачет.

Шумными рукоплесканиями встречают собравшиеся приветственное слово Аксакова.

Оглашается приветствие петербургских литераторов, под которым подписались: Никитенко, Писемский, Краевский, Тютчев, М. Михайлов, Мей, Гончаров, Тургенев, Дружинин, Алексей Константинович Толстой, Панаев, Полонский, Потехин, Некрасов, Лев Толстой, Вяземский, Плетнев, Данилевский, Владимир Соллогуб и многие другие.

Поднимается Погодин и провозглашает тост «за друга Щепкина, за Сергея Тимофеевича Аксакова». Снова рукоплескания.

Тотчас же Константин Аксаков поднимает бокал и растроганно говорит:

— Тост ваш для меня дорог. Благодарю вас от имени моего отца, благодарю всей душой за ваше сочувствие. Выражение общественного сочувствия, общественного мнения драгоценно, и отец мой высоко ставит его. Я не могу лучше ответить на ваш тост, столь для меня драгоценный, как предложить тост: *в честь общественного мнения*.

Две-три секунды длилось молчание, потом разразился гром аплодисментов. Все поднялись с мест. Ни музыкой, ни новыми тостами не могли унять рукоплескания и возгласы. Все увидели в словах Аксакова призыв к признанию общественного мнения, так беспощадно подавляемого, увидели даже какой-то намек на свободу для народа.

Прошло несколько дней после юбилея, а о речи Константина Аксакова и его тосте «в честь общественного мнения» в газетах не было ни слова. Текст тоста запретили публиковать как крамольный.

Погодин правильно оценил инцидент и скупое, но многозначительно внес в свой дневник: «...Юбилей Щепкина. Тост Аксакова. Его успех. Запрет».

А спустя два года московский генерал-губернатор граф Закревский послал шефу жандармов Долгорукову донесение: «Щепкин, Михаил Семенович. Актер. Желает переворотов и готов на все».

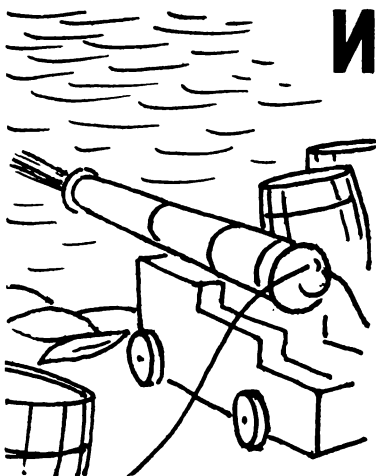
Выступление Константина Аксакова «в честь общественного мнения» долго обсуждалось в Москве. Через некоторое время текст речи появился в газетах.

О Сергее Тимофеевиче Аксакове говорила тогда вся Москва. Популярность его росла. То было время самой интенсивной творческой работы Аксакова. Он диктует день за днем. У него замыслы новых сочинений. И вдруг...

Война!

Мы утопаем в неведении причин нашего позора.

Из письма С. Т. Аксакова



ИЗ КОНЦА в конец России, над глухими деревнями, городами и селами империи, пронесся военный смерч. Прошла мобилизация войск.

Началась Крымская война.

На одной стороне — коалиция государств: Франция, Англия, Сардиния и Турция. На другой — Россия. Вскоре союзники подошли к Севастополю, и началась осада крепости.

Война ворвалась и в семью Аксаковых.

Пропала идиллия аксаковского патриархального семейства. Кончилась пора безмятежного ужения рыбы, любования красавицей «синелью» и скрытых душевных бурь. Все изменилось. Люди заговорили по-иному. С горящими глазами стали

спорить о судьбах родины. Вихрь войны поднял со дна запрятанные в тайниках мысли и чувства. Сергей Тимофеевич неузнаваем. Он возбужден, резок, раздражен.

...Аксаков мечется у себя в Абрамцеве, не может работать. Он ждет известий. Шлет нарочных в Москву к друзьям с просьбой сообщить о положении в Крыму.

Он садится за стол, чтобы поработать, но вскоре бросает. Несмотря на усиливающуюся слепоту, сам берется писать письма. Трудно, но, приладив кое-как зеленый козырек над глазами, он пишет Погодину: «Наше политическое положение меня с ума сводит...»

Бросив в раздражении перо, Аксаков зовет Веру:

— За один день пало в Севастополе восемьсот человек. Ты пойми: за один только день восемьсот жизней... Сил нам побольше бы, сил!..— Он посмотрел на дочь: — Пятый день не отвечаю на письма! Их скопилось множество. Вера, дорогая моя, не напишешь ли ответы кому нужно? Сбросим хотя бы это с плеч.

Вера взяла пачку писем, разобрала их, положила перед отцом и ждала, чтобы он стал диктовать.

— Пиши, Вера, ответ Александре Осиповне Смирновой. «Вы очень верно поняли тревогу в мирном Абрамцеве... Мы погружены в безотрадное горе и в тревожное ожидание новых печальных явлений нашего безысходного положения. Много великих событий совершилось на моей памяти, я помню, как возникал Наполеон; но ни одно не волновало меня, как настоящее, или, лучше сказать, грядущее событие... Я расстроен не только духом, но и телом, и я захварываю от каждого известия из Крыма...»

Написали Погодину. Тут уж Аксаков дал волю чувствам:

— «Дорогой Михаил Петрович!.. Я боюсь не Европы, на нас восстающей, а боюсь сомнений и нерешительности с нашей стороны и боюсь также за выбор главнокомандующих, которых понадобится несколько. Говорят, что на Дунае распоряжения очень плохие».

И после всяких подробностей:

— «Что за тупица Петербург! Отхлещут его по щекам, а он в восторге! Я разумею люд чиновный и приближенный...»

Аксаков возлагал большие надежды на адмирала Нахимова. Он верил в его знание морского дела. Он писал о нем:

«Нахимов — молодец, истинный герой русский. Я думаю, и рожа у него настоящая липовая лопата, как я называю Д. М. Пожарского».

...Аксаков устал.

Он взялся за чубук, перестал диктовать.

— Да, Вера, я жду громадных событий. Наши дела — и военные, и государственные — сводят меня с ума. Хожу как в воду опущенный... А самое главное — это неведение...

* * *

В Москве спешно создавали народное ополчение. У Аксакова три сына. Нужно решить: кому идти на войну?

«Я стар, глаза плохо видят, семья с трудом сводит концы с концами,— думал Аксаков.— У меня много незавершенной работы. Нужны силы, чтобы отбиваться от цензуры, нужна настойчивость, чтобы



«Дедушка» — С. Т. Аксаков. 1854 г.
Рисунок из семейного альбома Аксаковых.

получить у Погодина деньги под векселя и без векселей. Нужна помощь сыновей. А с ними надо расстаться... Их нужно отослать. Куда? На войну, в кровавое месиво! На войну... А кто ведет ее? Нынешние правители? А если я не доверяю им? Что, если они действуют не на благо моей родины, а во вред ей? Что тогда?..»

В комнату вошел Иван Сергеевич, вернувшийся только что из Москвы.

— Ну, что нового? Садись, Иван, рассказывай...

— Да, ничего, отесенька, хорошего... Положение серьезное.

— Как ты решил, Иван?

— Еду. Я уж записался ополченцем-охотником в Серпуховскую дружину. Под начальством графа Ивана Петровича Толстого.

— Ты будешь в строю?

— Да... Надену форму, черный или, кажется, серый мундир в виде зипуна и сапоги с красными оторочками, какими щеголяют офицеры в Москве. Впрочем, мое облачение будет самое простое и скромное...

Аксаков заговорил о тяжелом положении в стране, но спохватился:

— Знаешь, дорогой, мне кажется, что не следует говорить об этом теперь!

— Да, вы отчасти правы, отесенька,— ответил Иван и подумал: «Все это философия, а ехать все-таки нужно».

Чтобы покончить с этим разговором, Иван громко сказал:

— А знаешь, отесенька, до какой низости доходят у нас при формировании ополчения! Генерал-губернатор Закревский надумал ввести новый способ сбора пожертвований в пользу ополчения от купцов и мещан. Утром вызвали их в особое помещение и потребовали денег. Посоветовавшись друг с другом, они дали по одному рублю серебром. Тогда с них потребовали тридцать рублей, посадили в «сибирку» и заявили им: если к пяти часам не внесете денег, будете отданы в солдаты. Те быстро написали домой, им прислали сколько требуется, и они заплатили. Каждому из них была выдана квитанция, в которой удостоверялось, что он внес тридцать рублей серебром добровольно.

Вошла Ольга Семеновна и с тревогой спросила:

— Ну как?

— Еду, маменька!

— Боже мой!..— тихо вздохнула она.— В этот ад крошечный...

— Ничего, я— штабс-капитан, это не шутка!— пытался острить Иван, но, почувствовав фальшь, обнял маленькую, совсем уже седую маменьку, нагнулся к ней, поцеловал и сказал:— Ну, будет, будет! Скоро вернусь!..

— Что я тут стою с вами и болтаю! Небось проголодались, идемте!..— бодрым голосом воскликнула Ольга Семеновна, с трудом сдерживаясь, чтобы не заплакать. Она взглянула на Сергея Тимофеевича и потащила за руку сына в столовую.

Пришла зима. Уже никто в семье Аксаковых не интересовался, какая нынче будет зима: суровая или легкая? Какова охота? Не думали, хватит ли муки и круп до весны? Главное — не замели бы метели дорогу на Москву, не завалили бы снегом подъезд к дому. Нужно часто ездить в город, не то совсем будут «отрезаны от мира». А даль немалая, больше полусотни верст. Если задержится почта, Сергей Тимофеевич будет тревожиться. С тех пор как уехал Иван, ежедневно ждали писем.

Письма сына, в которых явственно отражался развал николаевской империи, не только волновали Аксакова: они настораживали его. Читая их, Аксаков как бы видел воочию все, что делается в захолустном городке Бендерах, под Одессой, где находился со штабом Иван.

За круглым столом красного дерева в гостиной, за тем самым столом, где впервые были прочитаны Гоголем «Мертвые души», где звучали стихи Жуковского, где сам Аксаков не раз декламировал переведенного им Мольера и читал главы своей «Семейной хроники», где, наконец, потом будет горячо спорить о литературе Тургенев,— здесь, за этим столом, Аксаков читает теперь вслух письмо сына. Иван Аксаков с болью в душе пишет отцу:

— «Ах, как тяжело, как невыносимо тяжело порой жить в России, в этой вонючей среде грязи, пошлости, лжи, обманов, злоупотреблений, добрых малых-мерзавцев, хлебосолов-взяточников!.. Здесь всюду толкуют с откровенным цинизмом об одном и том же: в клубе — кто как ворует, в гостях — то же самое. В военном ведомстве воровство в тысячу раз сильнее, чем в гражданском...

Чего можно ожидать от страны, создавшей и выносящей такое общественное устройство, где надо солгать, чтобы сказать правду, надо поступить незаконно, чтобы поступить справедливо?..»

Аксаков остановился, обвел глазами слушателей, взглянул более пристально на Веру.

Он знал, что больше всех страдает его «умница Вера», знал, что ей становится больно от этих вестей. Аксакову было тяжело читать слова сына о России, о родине, которую они оба любили до самозабвения.

Письмо было длинное, обстоятельное. Иван, казалось, обо всем написал, но из письма видно было, что это лишь ничтожная часть того, чему он свидетель.

После томительного молчания Вера заговорила первая:

— Это страшно! Но народ ведь не виноват! Нет, не виноват народ! Правители так поступают. Долго не может это продолжаться!

— А как же это, Верочка, у тебя получается: и может, и не может? —

— Не дай бог, чтобы переворот совершился насильственно. Правительство должно само осознать и изменить положение...— ответила

Вера. Призвав, как всегда, в помощники своего «боженьку», она тихо добавила: — Господь да свершит судьбы наши в милости!

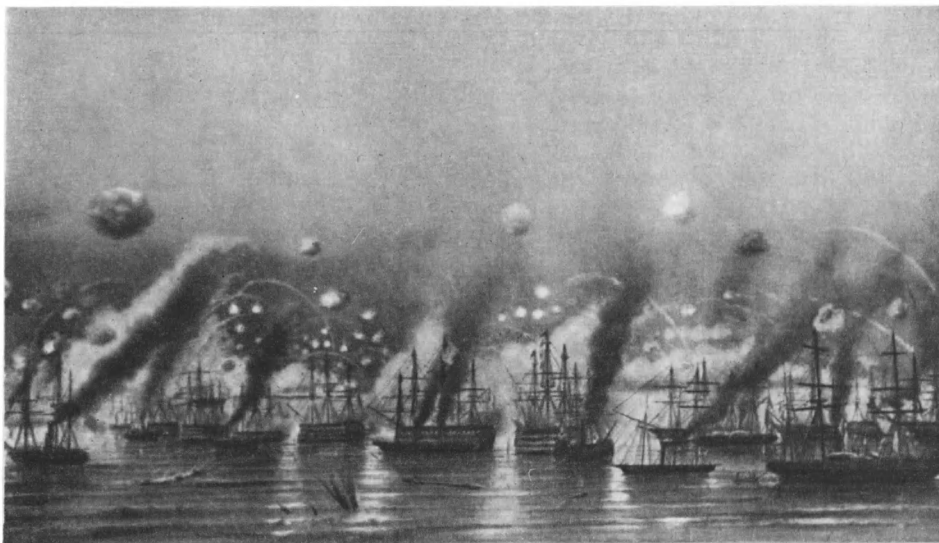
Аксаков обратился к Ольге Семеновне:

— Вот послушай, что еще сын пишет: говядина стоит один рубль серебром пуд, бессарабское вино — по десять копеек за око (это значит за штоф), сахар — по сорок копеек за фунт, а чай — тот продается по три рубля серебром за фунт... Вот так фунт, Оленька дорогая!

Аксаков пытался шуткой разрядить сгущенную атмосферу. За столом зашумели. Ольга Семеновна повеселела. И лишь одна Вера сидела угрюмая.

«Положение ужасное, — думал Аксаков. — Командование бездарное. Где она, былая слава русского войска, изгнавшего Наполеона и победоносно прошедшего через всю Европу? Слава суворовских чудо-богатырей? Куда она ушла, эта слава? А народное ополчение? Решит ли исход войны выбор главнокомандующего? Меншиков или Горчаков — какая разница? Корень зла глубже. Что же нам предпринять, нам, русским людям? Ведь что-то нужно делать!»

Аксаков сознавал, что России нужны перемены. Но как добиться их? Припасть к стопам царя, преклониться перед престолом с молитвой или?.. «Может быть, произойдет у нас, как во Франции? Может быть, революция? Нет, нет, черт с ними, с французами!»



Бомбардировка Севастополя 5 октября 1854 года.

Литография Тимма.

Музей-усадьба «Абрамцево».

Ольга Семеновна, всегда незлобивая и тихая, поздно вечером дала волю своим чувствам. Оставшись одна, она размашистым почерком крупными буквами строчила письмо Михаилу Петровичу Погодину.

В письме она страстно взывала:

«Настало время действовать... Соберитесь, русские люди!.. Боже мой, что делается с Россией? Душа предчувствует что-то ужасное...»

А Вера после молитвы села за свой дневник. Она писала:

«...Везде ропот, везде негодование!.. Положение наше совершенно отчаянное. Не внешние враги нам страшны, но внутренние — наше правительство, действующее враждебно против народа, парализующее силы духовные, приносящее в жертву своих личных немецких выгод его душевные стремления, его силы, его кровь...»

Все тревожнее становилось в аксаковском доме в Абрамцеве. Здесь словно чего-то ждали, напряженно прислушиваясь к далекому гулу войны, лоя каждое известие. Аксакова угнетала оторванность от Москвы, где, казалось ему, люди как-то деятельно проявляют себя — свою волю, свои силы.

В августе, после одиннадцати месяцев обороны, пал Севастополь.

Из Москвы приехал Константин.

— Что же там, в столице?..— расспрашивал Аксаков.— Неужели онемели люди, притупились чувства? Или тревога и уныние вконец сковали волю?..

Константин рассказывал о виденном и слышанном.

* * *

Гремит, звенит, смеется Москва. Празднует веселый праздник. В Москве ликование.

На улицах толпится народ. «Гремит музыка полковая». Несутся экипажи, на облучках — пудовые армяки кучеров, в экипажах возбужденный смех московских франтих, закутанных в собольи шубы. Летит стрелой рысак; в крошечных санках — седок в широкой шубе с пелеринкой, бобровым воротником, в форменной фуражке.

Куда несется этот разноцветный, многоголосый, бурный поток? Что случилось?

Едут к заставе.

Это московский миллионер Кокорев встречает черноморских моряков, прибывших в Москву.

У Кокорева — тридцать миллионов состояния. Он — властитель дум московских богатеев. Что стоит ему бросить сотню тысяч рублей на устройство встречи героев войны? Пустяки!

Он привез из Петербурга восемьдесят адмиралов, капитанов всех рангов и других морских офицеров Балтийского флота, чтобы они встретили своих товарищей-черноморцев. Один обед в пути обошелся в десять тысяч рублей.

У Серпуховской заставы — встреча. Толпы народа. Оркестры. Кокорев в русской шубе, на голове высокая меховая шапка — горлатная, какую носили бояре. На огромном серебряном блюде он подносит гостям-черноморцам хлеб-соль. Он опускается на колени и благодарит героев моряков за славные подвиги. За ним повалился ниц весь народ. Впереди — купцы и чиновники.

Торжественная встреча окончена.

И вот уже залились серебряным звоном бубенцы. Двинулись в путь тридцать лихих троек с моряками. Золоченые дуги, в гривах летящих коней развеваются яркие ленты.

Гремит, звенит, ликует Москва...

Моряков-черноморцев Кокорев везет в лучшие гостиницы. Именитые купцы наперебой приглашают их к себе. Миллионер Козьма Солдатенков, промышленник и купец, из московских старообрядцев, взял к себе сто человек.

На Серпуховской площади остановка.

Замолкли бубенцы. Ямщики сдерживают взмыленных коней. Народ валит на площадь. Бегут со всех улиц, восемью лучами сходящихся сюда. Несутся толпы по Ордынке, Полянке, Коровьему валу...

— Что за диво дивное? — шумит народ.

— Аль Севастополь отвоеван?

— Мир заключен?

— Спаси, господи, люди твоя!..

— Слышь, водкой поят! Налегай!

— Ура-а-а!

На площади расставлены столы. Моряков угощают калачами, сайками. Пьют водку. И снова звучит речь неистового Кокорева:

— Други и братья! Благодарим вас за ваши труды и подвиги, за храбрую защиту родной земли!..

У Кокорева разгоряченное лицо, веселыми огоньками светятся глаза, залихватскими колечками завиваются напомаженные усы и бороденка.

Угощение кончилось. Двинулись дальше.

Захмелевшие ямщики, широко разведя руки, как для объятий, подхватили огромными рукавицами вожжи, гикнули, свистнули — и тройки рванулись вперед. Снова визгливо захлебнулись бубенцы, замелькали ленты в гривах коней, и тридцать пьяных троек понеслись по Москве.

Вечером — обеды, балы, танцы, народные гулянья, спектакли.

И потекли дни, наполненные буйным весельем. Закружилась, завертелась на балах и званых вечерах праздная Москва.

Кокорев неутомим: то он везет шестьдесят черноморцев на блины к Погодину на Девичье Поле, то — на танцы к Ивану Мамонтову на Серпуховскую заставу. К тому самому Мамонтову, сын которого, Савва Иванович, — меценат, ценитель искусства — через одиннадцать лет после смерти Аксакова купит его опустевший дом и поместье в Абрамцево.

Празднества на этом не кончились. В купеческом клубе был дан торжественный обед. За обедом последовал благотворительный спектакль.

На Тверской вечерами светится веселыми огнями дом московского генерал-губернатора графа Закревского. Гремит музыка...

Теперь здесь на балах без конца чествовали героев черноморцев, совершенно уже замученных, обалдевших от столь непомерной любви московских купцов.

Но всего этого мало неутомимому Кокореву! Он вручает каждому офицеру по четыреста рублей серебром.

Верным сподвижником в затеях Кокорева был Погодин.

«У Погодина,— писал Аксаков сыну Ивану,— захватило дух. Он непрерывно выступает с речами, он называет Кокорева «Потемкиным наших дней». И, разумеется, Шевыревым были написаны по этому случаю два стихотворения во славу русского оружия».

Аксаков высмеивал всю эту шумную, нелепую затею с героями черноморцами, которая была карикатурой на патриотизм.

«Я не вытерпел и сказал Погодину, что Кокорев сделал одну ошибку: не сшил всем адмиралам и офицерам по новому мундиру. Погодин не понял моей злой шутки, передал всерьез эту мысль Кокореву, а тот, приняв за чистую монету, ответил, что он каждому черноморцу даст для этой цели по четыреста рублей серебром. Вот уж подлинно поразительно, что в нашем обществе не все понимают мои слова! И это я замечаю не в первый раз».

...Аксаков закончил письмо сыну, сложил вчетверо исписанные листы, заклеил, написал адрес и задумался.

Стоит ли отправлять это письмо туда, где льется горячая человеческая кровь и гибнут сотни, тысячи молодых, ни в чем не повинных людей? Зачем ожесточать картинами разлагающегося тыла и без того ожесточенные души?

Аксаков долго держал в руке запечатанное письмо. Потом позвал нарочного. И письмо было отправлено.

Но, отправив письмо, Аксаков продолжал размышлять о Кокореве и Погодине.

«Не написать ли им все, что думаю о них? Честно ли скрывать свое мнение? А если обидятся? Ну и что ж, зато выполню свой долг!»

И Аксаков отправил Погодину письмо, в котором писал о Кокореве:

«Во всех его последних действиях являются два вредных обстоятельства.

Первое. Всякий порядочный человек оскорбляется тем, что русские офицеры могли принять от частного лица такого рода угощения и пожертвования. А вы, вместо того чтобы скрывать, по возможности, эту болячку, старались выворотить ее наружу.

Второе. Часто проглядывает заранее придуманная комедия, которая разрушает все, а вы и этой стороны не щадите.

Я долго молчал. Вижу смешение понятий, которым страдаете и вы, и Кокорев, и оттого о вас обоих говорят по большей части дурно. Но я задел такую глубокую материя, что и сам не рад. Польза все-таки будет обоим вам».

Таков был Аксаков. В вопросах морали он был непоколебим.

* * *

Душевные переживания Аксакова во время войны как бы ни были тяжелы, не могли подавить в нем писателя, не могли заглушить поэтическое вдохновение. Он оставался во власти запавших глубоко в душу воспоминаний о прошлом. Аксаков продолжает «Семейную хронику». Не нарушая установленного порядка, ежедневно по утрам страницу за страницей диктует он Вере повествование о временах давно минувших.

Но как же так? В грохоте войны? Ведь разваливается империя. Надвигаются штормы народного гнева.

Его кажущуюся отрешенность от текущих событий, политических вопросов, идейных споров порой объясняли узостью мировоззрения. Правда, художественное видение Аксакова, его огромное поэтическое дарование ограничивались недостаточной широтой исторического мышления.

Он писал и мог писать только то, что сам видел, сам пережил. Или, по крайней мере, то, что своим зрением художника воспринимал как виденное, несомненное.

Многочисленные письма, записи, документы говорят о том, что Аксаков был потрясен Крымской войной. Но он не был участником войны, его художественные восприятия не столь «весомы, зримы», чтобы он мог писать о них так, как требует его писательская совесть, его честность, служение истине. Аксаков был современником нашествия Наполеона. Его родные были свидетелями пугачевского восстания. Но обо всем этом он только говорит в своих произведениях скороговоркой, как бы мимоходом, так как то, что он знает об этих событиях, не дает ему права писать о них:

Аксаков в своем творчестве не только правдив: он предельно точен, а эта точность требовала личного участия, личного наблюдения и изучения изображаемого. В этом сила его таланта, своеобразие его творчества.

В разговоре с Н. М. Павловым, близким ему человеком, он рассказывал:

«Сейчас был у меня Иван Сергеевич Тургенев и заявил мне от многих здешних и петербургских литераторов, что они, видишь ли, считают меня теперь первым из современных русских писателей. Разумеется, это одна только любезность с его стороны. Захотелось ему сказать мне, старику, да еще больному, что-нибудь лестное, вот он и придумал.



Иван Сергеевич Аксаков
Рисунок Э. А. Дмитриева-Мамонова.

Какой я писатель? Творчества у меня нет. Изобретение — вот в чем главная сила первоклассных писателей. А оно остается до сих пор и было смолоду камнем преткновения для меня. Я только передатчик и простой рассказчик: изобретения у меня на волос нет».

Как бывает у больших художников, он свою огромную силу счел слабостью.

Правдивость сделала Аксакова одним из видных представителей критического реализма в русской литературе. Действительность, и современная ему, и минувшая, была такой, что честный, правдивый писатель-реалист не мог не относиться к ней критически, не мог не вынести ей суровый приговор.

Аксаков никого и ничего не щадит ради правды, даже самое любимое — дорогих сердцу людей, дорогие, любимые места.

Правда Аксакова глубока. Она запрятана в эпическом повествовании, даже порой в идиллических картинах прошлого, но в ней, в этой правде,— осуждение главного зла века: крепостного права — коренной причины всех бедствий народа.

Несмотря на эпическое спокойствие, порой нарочитое равнодушие, с каким Аксаков показал в «Семейной хронике» помещика-крепостника Степана Багрова, картина получилась гневной, вызывающей чувство негодования, протеста. Крепостное право было избаловано.

Аксаков показал, как Степану Багрову в его вотчине все подвластно: хозяйство, жизненный уклад, судьбы людей. Жизнь каждого крепостного зависит от прихоти помещика. Его жена Арина Васильевна не уступает мужу в жестокости обращения с крестьянами. А Куролесов? Жестокость, страдания, безнаказанный произвол и тупая покорность, показанные Аксаковым в рассказе о Куролесове с глубоким проникновением в жизненную правду, становились волнующе современными. Изобразительная сила аксаковского дарования вызывала в читателей далеко идущие обобщения. «Живая быль», по выражению Добролюбова, становилась близкой.

Аксаков долго работал над «Семейной хроникой». Он много раз перерабатывал написанное, добиваясь наибольшей простоты, ясности.

Впоследствии, когда «Семейная хроника» была издана, Тургенев, Лев Толстой, Герцен, Чернышевский, Добролюбов, Щедрин, и из другого лагеря — Хомяков, Погодин, Шевырев,— все, на каких бы идейных позициях они ни стояли, единодушно назвали книгу Аксакова выдающимся произведением русской литературы.

А сам Аксаков писал М. А. Максимовичу, известному литератору и этнографу, историку Украины: «Успех моей книги удивил меня. Вы знаете, что мое самолюбие не заносчиво, и оно остается таким, несмотря на все печатные, письменные и словесные похвалы, которые иногда доходят до нелепостей...» А сыну Ивану написал: «Как бы ни были велики мои надежды на успех моей книги — действительность превзошла всякие самолюбивые ожидания».

Одновременно с последними главами «Семейной хроники» Аксаков диктовал Вере и другую книгу — «Воспоминания», или, как он ее вначале назвал, «Казанская гимназия». Аксаков писал эту книгу с тревогой, неуверенностью, хотя и с большим увлечением, не отрываясь от нее даже в годы войны. Он хотел показать на материале своей автобиографии развитие характера человека, главных его черт и особенностей. Но писатель опасался, как бы личные, интимные чувства автора не исказили точной картины, не затуманили истины.

Своими опасениями он делится с Тургеневым. Он пишет ему: «Затейное мною слишком затрагивает чувство, а этот господин сумеет обмануть кого угодно».



Уголок столовой Аксаковых в Абрамцево.

Тревога Аксакова оказалась не напрасной. В «Воспоминаниях» дана яркая картина юности писателя: Казанская гимназия, университет, профессора, студенты, первое увлечение литературой, споры об искусстве. Здесь видно, как вырастал и созревал писатель, как зарождались те черты, которые создали будущего поборника правды в искусстве. Но все же в «Воспоминаниях» преобладает личное, биографическое, в ущерб художественному обобщению.

«Воспоминания» были закончены в январе 1855 года и через год вышли в свет вместе с «Семейной хроникой».

Вечер. Затянув потуже кушак с кистями на стеганом халате, теснее прижавшись к спинке кресла, придвинув ближе канделябр со свечами, Аксаков снова и снова перечитывает письма сына Ивана. В них, как в зеркале, он видит уродливый лик николаевской Руси. Вспоминает страницы своей «Семейной хроники», и горькие мысли одолевают Аксакова: «Вот, оно передо мною — и прошлое и настоящее России... А будущее?» Вспомнил Гоголя:

Русь, Русь, куда несешься ты, дай ответ...

...Положение на войне все ухудшалось: развал, неразбериха, казнокрадство, бездарная стратегия. Становилось ясно, что поражение России в Крымской войне неизбежно.

Много разговоров о предательстве в штабе главнокомандующего, об измене самого Нессельроде, всемогущего министра иностранных дел, который якобы действует на руку врагам. Росли слухи один другого чудовищней.

Иван Аксаков писал отцу без прикрас. Действительность была грознее его писем.

По приезде домой он долго вспоминал пережитое. Особенно запечатлелся в памяти случай в степи под Кишиневом.

...Весна на юге была дождливая, холодная. Войска стягиваются к Дунаю. Ждут военных действий. В Бендерах, куда прибыл Иван Аксаков, ратники по колена в грязи ведут земляные работы.

Иван Аксаков срочно командирован в Кишинев. Он берет с собой двух ратников и отправляется в путь. Едут ночью. До Кишинева шестьдесят верст.

Едут молча.

— Ну что ж ты, братец, приуныл? — обращается Аксаков к ратнику, бородатому человеку лет пятидесяти, с изможденным лицом.

— А чего веселиться-то? Война!

— Дома за хозяйством кто у тебя смотрит?

— Никто, ваше благородие.

И опять молчание.

— Да ты толком отвечай. Как это — никто? Что ж, ты в безвоздушном пространстве, что ли, живешь или на земле с людьми?

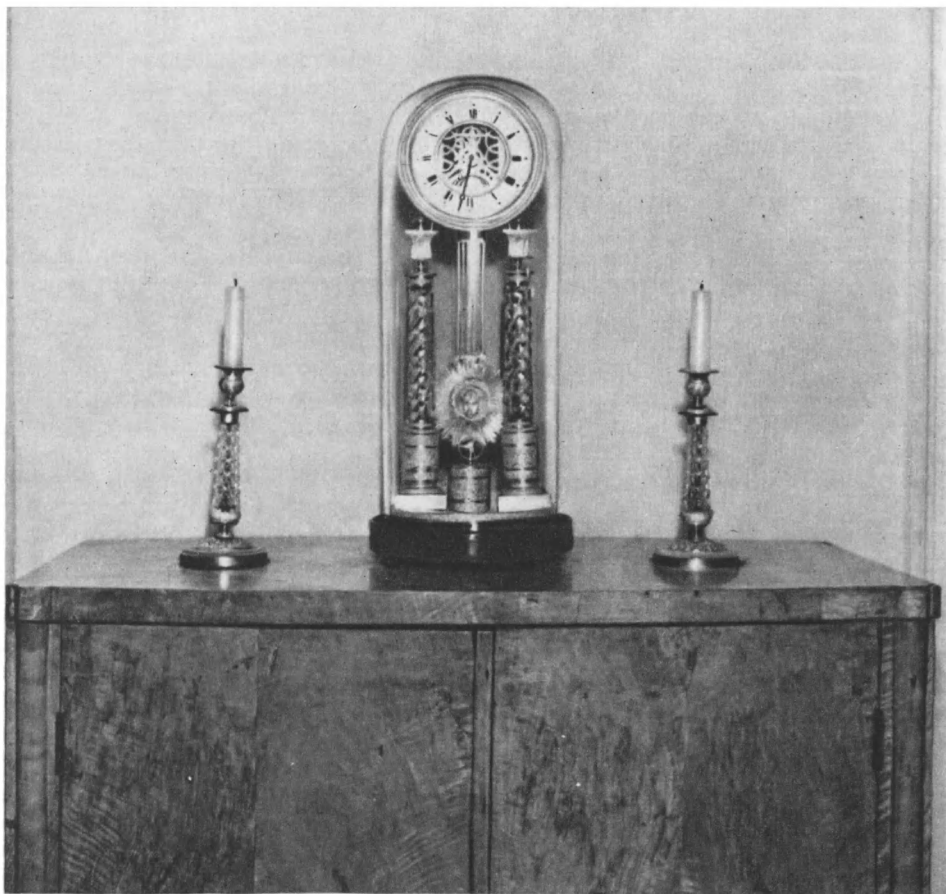
— Никого у меня нет, барин, ваше благородие. Никого. Жена умерла два месяца назад. Остались ребятишки... Их семеро у меня. Мал мала меньше... Ну, и пошли по миру. Авось выживут!

— Да, невеселая картина!

После недолгой молчаливой езды в тряской колыхаге по безмолвной бесконечной степи Аксаков, поддавшись унылым мыслям, сказал:

— Да ты, братец, расскажи о себе подробнее, не таись...

— Артиллерист я, ваше благородие. Служил в артиллерии, в самом



Часы и подсвечники в столовой Аксаковых.

Петербурге... В 1825 году... били картечью по Сенатской площади... Обманули нас офицеры, заставили стрелять по своим... Кончил службу, приехал домой...

— Ну, и что ж ты?

Ратник молчал, глядел в степь, в темноту.

Тишина...

Ночь. Глухая степь. Кто мог знать, что это он, Иван Муравьев, пошел с ватагой ожесточенных людей и топором зарубил помещика, сжег усадьбу, бежал, прятался, чудом избежал каторги — расплатился за обман...

Ратник снова заговорил, и с такой интонацией, будто он продолжает прерванный разговор:

— Намедни перед отъездом зашел в госпиталь проведать земляка, матроса раненого... Что он рассказывает про Севастополь — душа горит. А сам, вижу, лежит в грязной рубахе, на подушке соломенной. В госпитале теснота, вонь, простите, ваше благородие. Коек сто пятьдесят, а раненых и больных пятьсот. Жрать нечего, ржаного хлеба нет вовсе, дают одну мамалыгу. Дохнут люди...

— Ну, ты уж слишком мрачен, Муравьев!

— Нам бы скорее мира... Черт с ним, с французом! Его нам не осилить, только народу больше погибнет... Не слыхали, ваше благородие, насчет мира?

— Будет, братец, все будет... Всему свое время.

Иван Аксаков замолчал. Он уже жалеет, что затеял разговор... Бородатый ратник вызывает подозрение. Ехали в кромешной тьме. На юге даже весенние ночи и те чернее северных. До Кишинева еще добрых верст двадцать.

Лошади тяжело ступают по вязкой грязи. В темноте перед глазами прыгает огненная точка, то разгораясь, то затухая. Это сигарка Муравьева. Она выхватывает из мрака кусок бороды, фуражку, нахлобученную по самые глаза. И вот уже Ивану Аксакову мерещится волчий глаз, преследующий на глухой дороге... Он ощущает беспричинную тревогу, даже легкий озноб. То ли от холодного степного ветерка, то ли... От чего бы еще?

И долго потом, уже в Кишиневе, продолжалась эта тревога. В театре, где перед спектаклем пели «Боже, царя храни». На офицерском балу с танцами и призами... Показывали «живые картины из восточной жизни под бенгальским огнем». Завернутые в голубой тюль сидели и лежали тучные супруги полковников и капитанов местного гарнизона, изображая турчанок. Ивана Аксакова мучила неотступная мысль: «А что, если бородатые ратники все, скопом, объединившись, потребуют ответа? Что тогда?.. Революция?..»

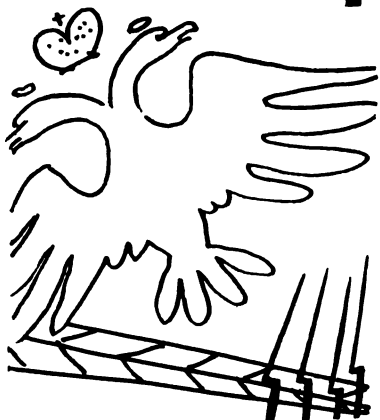
Приехав домой, Иван с волнением рассказал отесеньке об этой «страшной встрече».

Прошли годы, а страх перед возмездием, которое может прийти от народа, все возрастал у Ивана Аксакова. Под конец жизни боязнь народного возмездия все усиливалась и привела его к служению самодержавной власти.

А отесенька, Сергей Тимофеевич Аксаков? Как стал жить после войны?

Моих поступков правоты
Не запятнает власть земная.

С. Т. Аксаков



ТРЕЩАТ морозы. Воеет метель. Окна разри-
сованы морозом. Подойдешь к окну — и
ничего не видно: «Домового ли хоронят,
ведьму ль замуж выдают?..»

В парке снежная кутерьма; метель пу-
стилась в пляс и прихватила с собой елку
в широченной снежной юбке до земли и
совсем побелевшую белоствольную березу,
и дубки, как снежные копны. Все заверте-
лось и понеслось, понеслось... А серое не-
бо тяжелой крышкой придавило вихревую
свадьбу, чтобы не залетала она вверх, ку-
да ей не положено.

Сквозь тяжелые снега с трудом проби-
ваются ямщики с почтой. Не обрывается
связь у Аксакова с внешним миром.

Доживающий последние годы, полусле-
пой, Аксаков обретает какую-то новую силу. Его чувства обострены. Тревогой за судьбы России наполнена душа Аксакова. Он с жгучим вниманием следит за событиями.

Сегодня Аксаков особенно бодр: почти перестала ныть печень, и глаза не так уж болят, и видит он как будто лучше, и мысли бегут, одна другую обгоняя. Уверенным шагом ходит по дому. Заглянул в перед-

ною, где в углу стоят удочки. Остановился, любовно тронул их. А они, терпеливо ждущие лета и твердой хозяйской руки, зашевелились, словно зашептались о старом рыболове...

Аксаков вошел в кабинет, сел и углубился в работу. Он стал просматривать продиктованные накануне отрывки из будущей книги «Детские годы Багрова-внука» — последней части задуманной трилогии. Прочитал один отрывок, другой. Отложил. Посмотрел третий. Прищурив правый глаз, который еще видел кое-что, Аксаков стал вносить исправления. Увлёкся и начал работать с такой взволнованностью, какой уже давно не испытывал.

Уйдя с головой в работу, Аксаков почувствовал, как где-то в глубине сознания вспыхивают мысли, по-новому освещающие его воспоминания. Не усилившаяся ли тревога о судьбе родины, не горе ли народное требуют какого-то иного отношения к прошлому, другого освещения картины далеких детских лет Багрова-внука? И прежнее безмятежное течение рассказа маленького Сережи то и дело сменяется гневом.

Вот староста Мироныч, угнетающий крестьян. Какое яростное возмущение он вызывает у мальчика! И как огорчился маленький Сережа, узнавший, что его мать терпеть не может крестьян, пришедших ее приветствовать...

Аксаков взял лежащий перед ним на столе начисто переписанный отрывок, где был изображен приход крестьян. Прочел. Отложил в сторону. Подумал, как будто прислушиваясь к чему-то. Аксаков долго сидел над этим отрывком. Он был закончен словами:

«А почему, маменька, вы не вышли к нашим добрым крестьянам? Они вас так любят». — «А потому, что бабушке и тетушке твоей стало бы еще грустнее; к тому же я терпеть не могу... ну, да ты еще мал и понять меня не можешь». Сколько я ни просил, сколько ни приставал... мать ничего более мне не сказала. Долго мучило меня любопытство, долго ломал я голову: чего мать терпеть не может? Неужели добрых крестьян, которые сами говорят, что нас так любят?..»

Аксаков еще раз внимательно прочитал написанное. Он и теперь, спустя более полсотни лет, был так же взволнован, как некогда волновался маленький Сережа.

Вошла Вера. Увидев нахмуренное лицо отца, спросила с тревогой:

— Вести недобрые получили?

— Нет, воспоминания... Горькие, досадные...

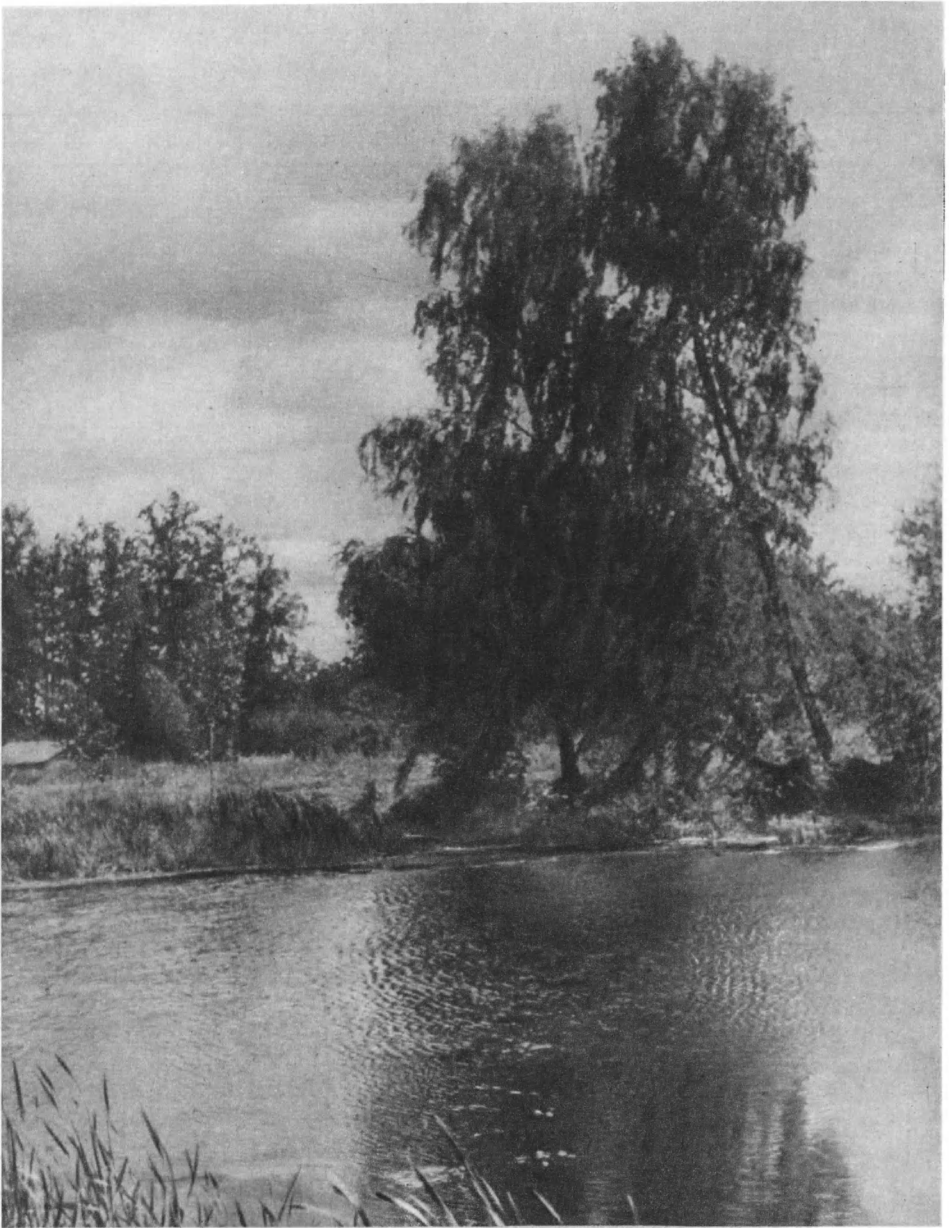
— Багрова-внука?

— Да, маленького Сережи, — ответил угрюмо Аксаков и замолчал.

Молчание длилось долго. Вера уже с беспокойством поглядывала на отца, а он, силою воображения перенесенный в далекое прошлое, вдруг спросил, как будто сам себя допытывал:

— Почему, почему, маменька?.. Скажите!..

Потом спохватился и, посмотрев на Веру, все так же угрюмо, но решительно сказал ей:



Верхний пруд в Абрамцеве.

— Ответ ясен.— А потом, улыбнувшись, добавил: — Надо было, Верочка, прожить долгую жизнь, чтобы узнать правду.— И рассказал дочери о своих воспоминаниях.

Вера ушла. Аксаков снова взялся за рукопись. Он работал долго. Наступило время, когда обыкновенно прибывала в Абрамцево почта из Москвы. Он взглянул на часы, сложил черновики, подошел к окну: метель продолжалась. Не сбились ли с дороги ямщики? Но нет, уже слышен за дверью мелкий перебор каблучков Марихен. Она вбегает, чтобы сказать отцу:

— Отесенька! Слышите? Почта!

На этот раз почта оказалась необычайной. В почтовой карете приехал незнакомый человек.

Аксаков долго потом вспоминал этот день. Он как бы полоснул по сознанию, хотя все было обыденно. Во внешности приехавшего не было ничего примечательного. Потом трудно было даже вспомнить облик этого человека — глаза, рост, голос. А между тем его приезд остался в памяти надолго.

Приехавший весьма учтиво сказал:

— Проездом остановился в вашем поместье. Еду в Ахтырку, по делам. Не сочтите за дерзость...

— Пожалуйста!..

— Кстати, и просьбу выполню Николая Александровича.

— Чью? — спросил с недоумением Аксаков.

— Мельгунова, Николая Александровича. Он просил: «Если будешь в тех краях, загляни, братец, к Сергею Тимофеевичу и передай ему поклон от меня...»

— Благодарствую! — ответил Аксаков и стал гадать: о ком это говорит приезжий?

Наконец вспомнил литератора Николая Александровича Мельгунова, которого встречал у Погодина. Он сотрудничал в «Московском вестнике». Вспомнив, Аксаков повторил более уверенно:

— Благодарствую!

Мельгунов был театральным критиком, публицистом, историком, но литератором его считали весьма посредственным.

— Кстати, просил и письмецо передать вам,— сказал приезжий и протянул увесистый пакет. А потом с той же учтивостью добавил: — Кланяется вам и Борис Николаевич.

— Весьма признателен! — ответил более приветливо Аксаков.

Ему был известен Борис Николаевич Чичерин — профессор Московского университета — историк, друг видного общественного деятеля Константина Дмитриевича Кавелина, близкого знакомого Аксакова. Это были западники — заклятые враги славянофилов. Без ожесточения Константин о них не мог говорить. Преклоняясь перед западной буржуазной демократией, эти люди считали возможным установление демократического строя в России путем реформ. Западники, как писал Белинский,

питались иллюзиями насчет политических преобразований в России: «Без насильственных переворотов, без крови».

Взяв в руки увесистый пакет, Аксаков насторожился. Про себя он недоумевал: «Что их угораздило прислать мне такое письмо?» Спросил: нужен ли ответ?

— Нет, не требуется,— ответил приезжий и стал торопиться в путь.

— Отдохнули бы?..

— Что вы! Дела, дела!..— попрощался и уехал.

В письме было сказано, что, зная про интерес, который Сергей Тимофеевич проявляет к политическим событиям, посылаем, мол, статью. «В ней вы увидите,— говорилось в письме,— картину бесправия и произвола. Вы услышите голоса русских людей, требующих широкой гласности во всех делах государственных». Не имея возможности опубликовать статью, автор просит переписать ее и передать дальше тому, кому «по вашему усмотрению вы найдете нужным».

Аксаков возмутился: кто дал им право обращаться к нему с подобным предложением? Он почему-то подумал об авторе письма во множественном числе и назвал его «они», заподозрив какое-то «сообщество». Как посмели они подумать, что в его лице можно найти смутьяна?

Аксаков слышал, что ходят по рукам рукописные статьи, но они ведь преследуются. Это дело каких-то заговорщиков.

Аксаков приложил пальцы к вискам. В сознание ворвались тревожные мысли, вызванные тайным письмом.

«Нет, нет,— решает Аксаков о присланной рукописи,— я своей руки не приложу к сему тайному делу... Скорей бы нагнать уехавшего господина и вернуть ему полученный пакет!..»

Аксаков решительно поднялся, сделал шаг к двери, но остановился. Постоял и... вернулся к креслу. Он снова берет в руки присланную статью.

По мере того как, читая, он вникал в ее содержание и перед ним раскрывалась «картина бесправия и произвола», где-то глубоко-глубоко в сердце закопошилась, защемила болью обида.

«Вот взять хотя бы мою службу по цензуре и позорное увольнение. А за что уволили, попросту выгнали? За то, что не стал душить литературу. Унижения, унижения!.. Дубельт, Орлов, Перфильев! Жандармы! Чудовищное издевательство — преследование за русский костюм. А генерал-губернатор Закревский, запретивший газетам писать о юбилее Щепкина! Дьявольское наваждение! А цензура?.. Сколько рукописей изуродовано!» Вспомнились гневные письма сына Ивана о войне. Тупые военачальники и казнокрады-чиновники... Сколько убитых и искалеченных русских людей!

Долго сидел Аксаков, держа в руках статью. Он смотрел в окно, но ничего не видел. Резким движением запрятал полученный пакет поглубже в стол, запер ящик, сказав, словно обращаясь к кому-то:

— Ну, а я-то при чем?..

В тот день Аксаков к статье более не прикасался. Но думал о ней. Даже ночью. Наутро, уединившись в кабинете, он снова стал ее читать.

«Почему нам брести, как в тумане, в неведении? Почему чувства зацепенели, в душах пустота? Почему не уразуметь прошлое, понять, куда идем и куда должны идти? Узнать путь к добру и правде...»

«Как тускло и не образно написано! Тут надобно бы совсем по-иному сказать», — рассуждал Аксаков.

Увлечшись критикой статьи, он словно забыл о своем решении уничтожить ее. И снова внимательно прочитал.

После резкого осуждения николаевского режима статья кончалась так:

«...Простора нам, простора! Того только и жаждем мы, все мы, от крестьянина до вельможи, как иссохшая земля жаждет живительного дождя...»

Вместо решения уничтожить статью Аксаков опять спрятал ее в стол.

Прошло два дня. Сергей Тимофеевич снова принялся за статью. Читал ее то всю целиком, то отдельные места по нескольку раз. Особенно долго он вчитывался в слова: «Почему не уразуметь прошлое, понять, куда идем и куда должны идти? Узнать путь к добру и правде...»

Аксаков решает: «Перепишем статью. А там видно будет, подумаем, стоит ли показывать кому-нибудь из друзей».

Он пошел искать Веру.

Вера сидела в своей комнате у окна и, разложив краски, писала акварелью любимую сирень. Аксаков вошел, постоял, посмотрел на мягкие тона красок, подумал о приближающейся весне. Он тронул Веру за плечо:

— Верочка!.. Очень нужно!

— Сейчас, отесенька.

Когда они вошли в кабинет, Сергей Тимофеевич запер дверь на ключ, подошел к дочери, остановился.

— Сядь, Верочка, и послушай... Мне передано письмо... Ну, не письмо, а статья. О тридцатилетнем царствовании Николая Первого. Он уже умер, его нет. Мы должны, понимаешь ли, осмыслить: что делать, куда идти? Это даже не статья, а что-то похожее на обвинительный акт, что ли? Видишь ли, Верочка, — как-то робко, извиняющимся голосом продолжал Аксаков, — статью просят переписать и передать знакомым. Пусть, пишет автор, дойдет правда до русских людей...

Аксаков отпер ящик письменного стола, взял рукопись и протянул Вере.

Вера была ошеломлена. Трудно было поверить, что ее отесенька уложил каким-то тайным письмом. Что все это значит?

«Ведь это беззаконие... Ведь это, наконец, опасно...» — подумала Вера и только хотела сказать об этом отцу, предупредить о грозящей опасности, разъяснить ему — если полиция узнает о распространении Аксаковыми рукописной литературы, то им будет грозить Сибирь, ссыл-

ка, кандалы... Только хотела она произнести первое слово, как Аксаков взяв ее за руку, сказал:

— Ну что, Верочка, писать или не писать?

— Но ведь... Я не знаю, о чем идет речь. Я ведь статьи не читала. Аксаков как будто обрадовался ее ответу, взял в руки рукопись, поднес близко к глазам и стал читать вслух.

Вера увидела, что он, по-видимому, не впервые читает статью, судя по очень уж плавному чтению.

Читая, Сергей Тимофеевич то и дело взглядывал на дочь.

«Мы все, современники этого достопамятного царствования,— читал Аксаков,— на словах или в мыслях, темно или ясно, произносим над ним суд присяжных».

Тут он остановился.

— Понимаешь, Верочка? Суд присяжных. Среди этих судей— и ты, и я, и все люди. Ты послушай дальше: «Пусть хотя бы на словах или даже в мыслях мы все, русские люди, где бы мы ни находились, должны учинить суд. Это наше право, наша обязанность, если любим родину...»

Вера недоумевала и чего-то ждала. Разгадка потом пришла. А пока Вера разложила бумагу. Как всегда, перед ней легла стопка добротной глянцевиной бумаги цвета слоновой кости, той самой бумаги, на какой пишут прошения губернаторам. И быстро, словно подгоняемое невесть откуда сорвавшимся попутным ветром, понеслось гусиное перо по скользкой глади слоновой бумаги.

Короткий зимний день кончался. Улеглась бушевавшая метель. Засветились свечи в канделябрах. Веселые огоньки то грациозно, жеманно приседали, то строго вытягивались.

Вера продолжала писать. Вникая в содержание статьи, она не могла освободиться от страха, который комком подбирался к горлу.

Аксаков размеренно ходил по кабинету.

— Отесенька! — порывисто сказала Вера. — Знаете ли вы, что вам угрожает за эту незаконную литературу?

Аксаков промолчал, подошел к дочери, погладил ее по плечу и тихо сказал:

— Пиши, Верочка!

Чтобы ободрить Веру, состояние которой понимал, он взял со стола рукопись, приблизил к больным глазам и стал сам, громко и отчетливо, диктовать:

— «По мере того как увеличивались объем и значение литературы, действия цензуры становились все строже и строже и дошли в последнее время до неимоверной придирчивости, мелочной и тупоумной... Смирительный камзол суживался постепенно вместе с расширением мысли...» — Прочитав, Аксаков сказал: — Не столь выразительно, сколь убедительно! Тяжеловато написано, слог дубовый... — И, пробегая глазами по рукописи, воскликнул: — А вот это ловко схвачено! Ты послушай,

Верочка. «Поверят ли через двадцать, будем надеяться, даже через десять лет, что в поваренных книгах зачеркивается техническое выражение «в вольном духу» или в медицинских сочинениях выражение «кесарево сечение»...»

Вера, оставив перо в чернильнице, сказала:

— Это истина! Сколько мучений и терзаний принесла вам, отесенька, эта проклятая цензура! «Охотничьи сборники» погибли, не успев родиться. Запретили издавать. А остальное... Каждую строку надо было отвоевывать у цензуры. Трудно придумать что-нибудь страшнее для нас, чем эта тупая, свирепая сила...

Переписка статьи продолжалась несколько дней. Ее переписали и вчерне и набело. Большие листы бумаги были аккуратно сшиты тетрадью в 48 страниц. Черновики были тщательно подобраны. Рукопись бережно хранили. Чистая, без единого пятнышка, без сгибов и вмятин, она пролежала в архиве Аксакова больше ста лет и дошла до нас. Переписанные рукой Веры Сергеевны Аксаковой листы хранятся ныне в рукописном отделе Государственной библиотеки имени В. И. Ленина.

...Время шло. В обществе становилось все беспокойнее. Рукописная литература росла на Руси.

В один из летних дней 1856 года Аксаков позвал Веру.

— Писать?

— Нет.

Аксаков прикрыл за ней дверь и протянул книжечку величиной в одну восьмую печатного листа. На титульном листе было напечатано: «Голоса из России» и внизу — «Лондон. Вольная русская книгопечатня». Полистав книжку, Вера увидела заголовок большой статьи «Мысли вслух об истекшем тридцатилетии России». Подписи не было.

— Герцен напечатал?

— Как видишь...— ответил Аксаков.

Вера в строгом сером костюме с пелеринкой казалась особенно собранной. Она внимательно, страницу за страницей, стала просматривать книжку.

Так вот она, та статья, которая втайне была передана Аксакову для переписки. Сколько раздумий, споров, волнений она вызвала у них!

Вера вспомнила далекие дни, когда Герцен и Белинский были частыми гостями в их доме. Вспомнила горячие споры и какое-то нежное чувство Герцена к отесеньке, о котором писал он потом Ивану Аксакову: «Вы носите имя чистое, имя честное, имя, которое мы привыкли уважать в вашем отце...»

Вера размышляла: «Герцен — политический эмигрант, живет в Лондоне, выпускает журнал «Полярная звезда» и сборники «Голоса из России», призывает к свержению монархии в России. Как может отесенька спокойно отнестись к тому, что статья, ее рукой переписанная и бережно хранимая в шкафу, теперь напечатана в том самом сборнике, где Герцен пишет: «Все наши усилия к тому и устремлены, чтобы



Александр Иванович Герцен.
Литография Ноэля.
Музей-усадьба «Абрамцево».

заменить современный порядок в России свободными народными учреждениями». Получается, что ее отесенька и все они, Аксаковы, как-то участвуют в запрещенном издании?»

Вера испуганно посмотрела на отесеньку. Аксаков не заметил ее тревоги. Он как ни в чем не бывало спокойно сказал:

— Вот прочти, что Герцен пишет здесь в предисловии.— И, взяв из ее рук книжку, прочел вслух: — «...Статьи, печатаемые нами, особенно важны потому, что принадлежат к той письменной литературе, которая развилась с необыкновенной силой во время последней войны и после смерти Николая I. Это первые опыты, еще робкие и непривычные, русской речи о русском общественном деле, являющиеся после тридцатилетнего молчания. По этим статьям можно отчасти судить об общественном мнении России в 1855 году, о вопросах, занимавших тогда и теперь умы».

Вера еще больше встревожилась:

«Значит, дело не ограничилось одной рукописной литературой. Вот она, печатная книжка, изданная в Лондоне революционерами-эмигрантами. И в этом замешаны волей или неволей и я, и отесенька...»

Вера Аксакова в дни Крымской войны с присущей ей страстью гневно говорила о несправедливой политике Николая I и тайно записывала в своем дневнике вольные мысли о необходимости реформ. Но все же она, как и ее отец, была очень далека от революционных идей Герцена и от того, чтобы каким-либо образом быть связанной с запрещенным изданием. Она долго держала в руке книжку «Голоса из России», боясь встретиться глазами с отесенькой, не зная, что ему ответить.

— Ну что, прочла, Вера? — спросил Аксаков и добавил: — А теперь я покажу тебе другое. Вот прочти завещание умершего царя. Оказывается, завещание было написано царем за двенадцать лет до смерти, еще задолго до Крымской войны, в разгар правительственных репрессий. Хочешь, я тебе прочитаю? Мне прислали. Слушай, Вера, что пишет царь в этом завещании: «Благодарю всех меня любивших, всех мне служивших. Прощаю всех меня ненавидевших. Прошу всех, кого мог неумышленно огорчить, меня простить. Я был человеком со всеми слабостями, коим люди подвержены, старался исправить в том, что за собой худо-го знал. В ином успевал, в другом — нет; прошу искренне меня простить».

Аксаков посмотрел на Веру и сказал:

— Это было писано царем через десять лет после смерти Пушкина... А язык письма николаевский, — добавил Аксаков, — лживый. И вот, Вера, в руках у тебя книжка, в которой люди требуют «суда присяжных». Они должны рассудить: простить ли царю Николаю Павловичу, как он просит, его деяния или не простить, если обвинение, изложенное в обвинительном акте, правдивое? Пусть суд решит!

— Какой суд, отесенька? Я не совсем понимаю... — проговорила Вера.

— Суд истории!

Мысли вслух об истекшем тридцатилетии
летии России.

«Благослови период ушедший, но еще более благо-
говлю периоду оставшейся...»

Царствование безвременной памяти Императора
Николая Павловича уже принадлежит истории.
Мы все, вращаясь в пространстве этого досто-
памятного царствования, сошлись теперь
его поблуждали, и, на словах или в письмах,
темно или ясно, проистекаем над жизнью судя
присутствия, за добро понимая добро, скорбя о
лево влече нас и оправдывая на прошедших
пути, на то что должно и им же должно.

Постыжались отдать себя и себя в профанацию,
своими же устами к памяти ушедшего и в
царствование к камням истории Великого Царя
России, себе только когда-то ушедшего прощась, а
впоследствии судить, куда идти, куда идти,
идти, и куда достигнув того места, куда пришла
жизнь и крепла в добро и право, в профанацию
русские ула и русские салы.

«Покорившись такой же крайности, как в время
радикалов: дисконте процесса жизни на перекоп
или оставившись в Восточном абсурде... Восточный абсурд
дальше простора, Старинный ^{восточный} ~~пословица~~ «Русские люди
— уму, логике, народная пословица... — Он репутация
придет на все уму, там он не репутация, там он репутация»

Особая мысль камей памяти послужила
Земле, внутренней и внешней, родилась на
нашей русской почве: она замышлялась у Австрийских
дворян

Рукопись статьи «Мысли вслух об истекшем тридцатилетии России»,
хранящаяся в архиве С. Т. Аксакова.

Государственная библиотека им. В. И. Ленина.

Далеко за полночь светится окно в аксаковском доме. Желтая полоса света бежит по уступам сада и гаснет далеко у реки. Аксаков работает до полуночи.

В тиши своего уголка, в милом его сердцу Абрамцеве, вот уже около тринадцати лет живет и работает Аксаков. Правда, живет не безвыездно: на зиму часто переезжает в Москву, но душа его здесь. Он знает, он чувствует, что именно здесь во всю мощь расправились его творческие силы. Сюда пришла к Аксакову литературная слава.

В чем причина столь сильного воздействия Абрамцева на жизнь Аксакова?

Абрамцево олицетворяет для него тот «вечно спокойный мир природы», куда стремился в последние годы жизни Аксаков. Здесь можно ему надежно укрыться от «скверны действительности», которую, как он писал в 1849 году сыну Ивану, «не поправишь, думая о ней беспрестанно, а только захвораешь». А действительность становилась все тревожнее, все сильнее будоражила, требовала ответа. Нарастающий грозный шквал народного гнева, призраки грядущих потрясений, обострившаяся идейная борьба в русском обществе пугали Аксакова. Он ищет тишины, безмятежной жизни. И уходит

...в мир природы,
В мир спокойствия, свободы,
В царство рыб и куликов.
На свои родные воды,
На простор степных лугов.
В тень прохладную лесов
И — в свои молодые годы.

В Абрамцеве природа для Аксакова

...примиритель
Вечно юный и живой,
Чудотворец и целитель...

Абрамцевские леса, луга, река, пруды, рыбная ловля, «охота за грибами», непередаваемые краски, запахи, звуки — все обаяние щедрой русской земли пленило душу Аксакова, вызвало творческое вдохновение.

...Работа над «Детскими годами Багрова-внука» близится теперь к концу. Эта новая книга аксаковской автобиографической трилогии была второй и являлась прямым продолжением «Семейной хроники». Третьей книгой были «Воспоминания», написанные и изданные ранее.

Работа над трилогией шла неровно. Над «Семейной хроникой» Аксаков работал более пятнадцати лет, а «Детские годы Багрова-внука» были написаны за восемь месяцев. Аксаков начал книгу в ноябре 1856 года

ГОЛОСА ИЗЪ РОССИИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЛОНДОНЪ

ВОЛЬНАЯ РУССКАЯ КНИГОПЕЧАТНЯ
82 JUDD STREET, BRUNSWICK SQUARE.

—
1856.

Титульный лист издания Герцена «Голоса из России», в котором была напечатана статья Мельгунова

Государственная библиотека им. В. И. Ленина.

и закончил 19 июня 1857 года. Притом писал ее в условиях напряженного политического положения, душевной тревоги.

Трудность заключалась еще в том, что по замыслу Аксакова книга предназначалась для детей. Это требовало особой формы, особого стиля. Писатель хотел показать духовный рост ребенка от трех до девяти лет и по возможности выразительнее и правдивее описать окружающий его внешний мир.

Аксаков, по его словам, стремился «...передавать другим свои впечатления с точностью и ясностью очевидности, так, чтобы слушатели получили такое же понятие об описываемых предметах, какое я имел о них».

Неторопливо, обстоятельно он повествует о незатейливой жизни глухого уголка тогдашней России — Уфимской губернии. Страница за страницей перед читателем раскрывается яркая картина далекого прошлого. В книге много людей, которых не было в «Семейной хронике»; это целая галерея типов. И все это воспринято, прочувствовано, пережито и рассказано ребенком, маленьким Сережей Багровым — главным героем и рассказчиком. Глаза ребенка, а душа и ум шестидесятилетнего старика, человека, пережившего и Крымскую войну, и тридцатилетнее молчание, и многое, многое... Как сочетать это, вернее, как исчезнуть, раствориться в образе Сережи?

Эти творческие трудности следовало преодолеть, создавая автобиографическое произведение. Вот почему во время работы над книгой у Аксакова являлось так много недоуменных вопросов и сомнений. В письмах Тургеневу, Погодину, Панаеву, Максимовичу, сыну Ивану и многим другим Аксаков рассказывал об этих трудностях. «Жизнь человека в дитяти не всем будет понятна», — пишет он М. А. Максимовичу.

Напряженной, упорной работой писатель достиг намеченной цели: он увидел мир глазами ребенка, впервые воспринимающего землю, природу — жизнь.

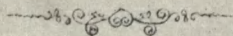
В этой книге достигла совершенства аксаковская лирика. Каким поистине неисчерпаемым, горячим вдохновением должен был обладать шестидесятилетний больной Аксаков, чтобы писать с такой страстью, таким поэтическим волнением, такой покоряющей лирической силой о природе, о весне, о первых весенних днях в деревне! «Когда душистые черемухи зацветают, когда пучок на березах лопается, когда черные кусты смородины опушаются беловатым пухом распускающихся сморщенных листочков, когда все скаты гор покрываются подснежными тюльпанами, называемыми *сон*, лилового, голубого, желтоватого и белого цвета, когда полезут везде из земли свернутые в трубочки травы и завернутые в них головки цветов; когда жаворонки с утра до вечера висят в воздухе над самым двором, рассыпаясь в своих журчащих, однообразных, замирающих в небе песнях, которые хватали меня за сердце, которых я заслушивался до слез; когда божьи коровки и все букашки выползают на божий свет, крапивные и желтые бабочки замелькают, шмели и пчелы жажужжат; когда в воде движенье, на земле шум, в воздухе трепет,

ДѢТСКІЕ ГОДЫ
БАГРОВА-ВНУКА,

СЛУЖАЩЕ ПРОДОЛЖЕНІЕМЪ

СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ

С. Аксакова.



МОСКВА.

ВЪ ТИПОГРАФІИ КАТКОВА И К^о

1858.

Титульный лист первого издания книги С. Т. Аксакова
«Детские годы Багрова-внука». 1858 г.

когда и луч солнца дрожит, пробиваясь сквозь влажную атмосферу. полную жизненных начал...»

Можно ли без волнения читать эти строки?!

Аксаков упорно работал над языком книги, подбирая наиболее точные, ясные, простые слова. Он мучительно боялся фальши. Писатель прибегал часто к чтению вслух отдельных отрывков родным и друзьям, чтобы проверить звучание каждого слова. «Он чувствовал неверность выражения как какую-то обиду, нанесенную самому предмету, и как какую-то неправду в отношении к своему собственному впечатлению, а успокаивался только тогда, когда находил настоящее слово», — пишет поэт А. С. Хомяков, сам большой мастер русской речи.

Аксаков писал «Детские годы Багрова-внука» с особой приподнятостью, отдавая любимому делу долгие часы и днем, и вечером. Он часто возвращался к уже написанному, правил, сокращал, добавлял. Главная его цель — достичь наибольшей простоты и ясности речи, освободиться не только от всякой вычурности и витиеватости, но от лишних фраз и слов. Аксаков стремится к выразительному, образному языку, беспощадно вытравляя многословие, расплывчатость, туманность. И он достигает этого упорной работой над стилем и языком своих сочинений.

Аксаков, как заметил С. И. Машинский, продиктовав фразу о своем пребывании в Багрове: «Два раза я жил в нем, и оба раза при самых неблагоприятных обстоятельствах», исправляет: вместо слов «при самых неблагоприятных обстоятельствах» он диктует — «оба раза невесело».

В написанном сперва предложении: «После обеда, на длинных крестьянских ропсусах, сидя на которых я качался, точно в колыбели, отправились мы с отцом в поле», Аксаков решительно потом выбрасывает слова: «сидя на которых я качался, точно в колыбели». И фраза становится более четкой.

Прочитав отрывок о поездке семьи Багровых в Никольское, в гости к помещику Дурасову, Аксаков усомнился: не слишком ли наметан глаз у Сережи? Увидев роскошь дурасовского дома, Сережа рассказывает о ней так, точно сумел заметить и оценить аляповатое нагромождение вещей в комнатах и безвкусицу хозяина.

Аксаков много работал над отрывком, пока не пришел к окончательному варианту:

«Обитая бархатом или штофом мебель из красного дерева с бронзой разные диковинные столовые часы, то в брюхе льва, то в голове человека, картины в раззолоченных рамах — все было так богато, так роскошно...» «...Хозяин очень любил показывать и хвастаться своим домом, садом и всеми заведениями; он прямо говорил, что у него в Никольском все отличное, а у других дряннь...»

«Да у меня и свины такие есть, каких здесь не видывали; я их привез в горнице на колесах из Англии. У них теперь особый дом. Хотите посмотреть? Они здесь недалеко. Я всякий день раза по два у них бываю».



Мария Николаевна Аксакова — мать писателя.

Портрет работы неизвестного художника.

Музей-усадьба «Абрамцево».

«...В двух больших комнатах жили две чудовищные свиньи, каждая величиною с небольшую корову... Хозяин особенно обращал наше внимание на их уши, говоря: «Посмотрите на уши, точно печные заслоны!»

Аксаков считал «Детские годы Багрова-внука» наиболее значительной книгой из всего написанного им, считал ее главным делом своей жизни. Он с тревогой писал сыну Ивану: «Я много положил в нее души, не знаю, почувствуют ли это читатели?» И Погодину: «Не знаю, хороши ли мой труд, но души своей я много туда положил».

Когда книга вышла в свет, критика ее тепло встретила. Не было правда, тех восторженных откликов, какие вызвала «Семейная хроника». Но «Детские годы Багрова-внука» постепенно, год за годом, завоевывали все более высокую оценку.

Создание в такой короткий срок большой, новой по форме и содержанию автобиографической повести потребовало от Аксакова много душевных сил, высокого творческого напряжения, горячего поэтического вдохновения. Сергею Тимофеевичу приходилось порой работать и сверх сил. А зрение слабело. Годы уходили. Работы впереди много, времени — в обрез. Тут еще то и дело приходилось прерывать работу из-за гостей. Абрамцево словно магнит притягивало к себе людей...

Много народа перебивало в это время у Аксакова. Писатели и художники, дворяне и разночинцы, старики и молодежь тянулись к нему. Но одна встреча особенно врезалась в память Аксакова.

ПРИШЕЛ КАЛИКА ПЕРЕХОЖИЙ

Пел складно песни русские
И слушать их любил...

Некрасов



А КСАКОВУ много раз говорили, что по деревням и селам ходит странный человек. Рассказывали, что он — помещик, бросил имение, носит мужицкое платье и записывает народные песни. Его видели на постоялых дворах, в кабаках, в крестьянских избах. Аксакова очень заинтересовал этот человек, и он попытался узнать о нем подробнее. Интерес к необыкновенному страннику не был у него праздным любопытством. Сергей Тимофеевич хотел увидеть этого человека, чтобы узнать, что творится там, в глубине народной толщи, — в деревнях и селах, узнать о людях «из глуши, из отдаленных закоулков государства». Время наступало тревожное. Страна была на пороге важнейшего события —

освобождения крестьян от крепостного ига.

Встретиться бы с этим человеком, ушедшим в народ, узнать у него, каковы теперь потомки людей из «Семейной хроники», каковы теперь крестьяне... Поговорить бы по душам...

А тут приезжает сын Иван и рассказывает, что Петр Васильевич Киреевский, Погодин и он, Иван, послали в Новгородскую губернию

разыскивать и записывать старинные народные песни, сказания, былины этнографа Павла Ивановича Якушкина, занимающегося изучением фольклора. Путевые очерки Якушкина будут печататься в журнале «Русская беседа».

— Представьте, отесенька, обойдется нам совсем дешево, сушие пустяки!..— сказал Иван Сергеевич, улыбаясь своей, как говорили московские дамы, «жемчужной улыбкой».

— А почему же пустяки?

— Он чудак, этот Якушкин. О деньгах нисколько не заботится.

Интерес к Якушкину у Аксакова все возрастал.

В один из дождливых дней, когда небо — не небо, а сплошная серая муть, в которой нет ни единого проблеска недавней синевы, когда дождь не молод, не весел, а безрадостен и тягуч, как одинокая старость, пришел к Аксакову по вязкой дороге из Хотькова Якушкин.

Пришел, и завязался разговор.

Сидели в гостиной. Кресла удобные, покойные, с искусно изогнутыми спинками. Аксаков, как всегда, с чубуком.

Только собрался Сергей Тимофеевич расспросить Якушкина о цели его странствий, как тот сказал:

— Никто столько не видывал видов, сколько наш брат странник. Чего только не увидишь, чего не услышишь! И все впечатления новы, встречи неожиданны.

Аксаков недоумевал: «Иван говорил, что Якушкин — бывший помещик, ученый-этнограф, а тут вдруг какой-то калика переходный... Не хитришь ли, странничек, со мной?»

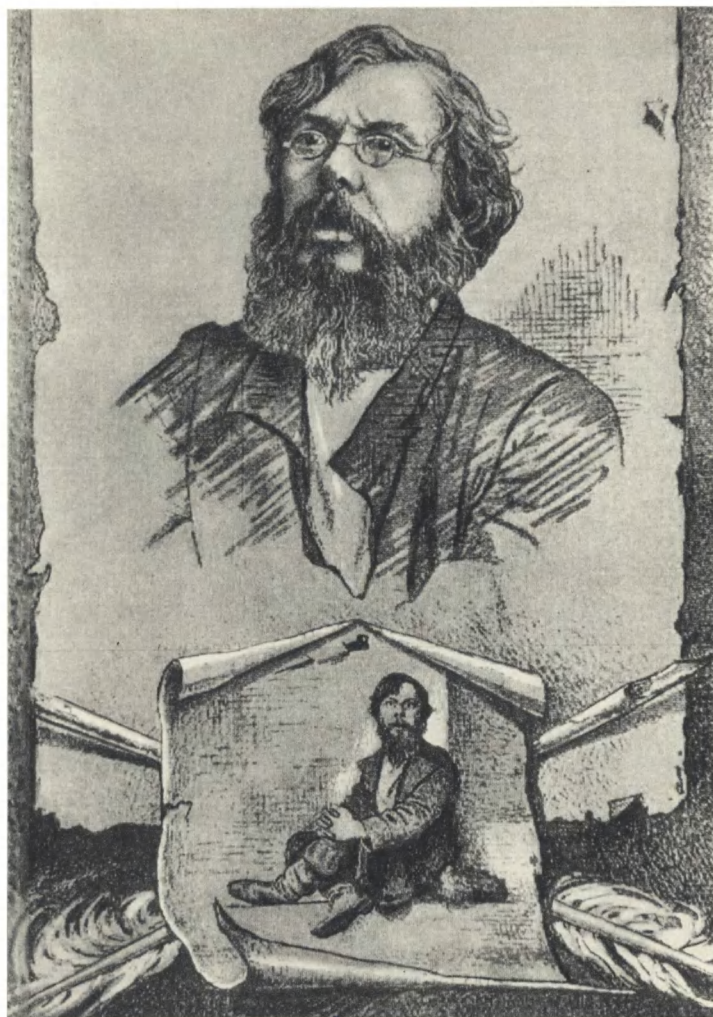
А у Якушкина душа нараспашку. Ему незачем было хитрить, притворяться. Он бежал от комедий, которые приходится играть человеку в благопристойном обществе. Он презирает этикет, бонтон, всяческие финтифлюшки. Он давно освободился от условностей. С веселой легкостью он выбросил этот мусор из своей жизни, очистился от него, чтобы жить вольготно.

Якушкин бросил родовое имение в Орловской губернии, отрекся от почестей старинного дворянского рода, променял сытую жизнь на мытарства странника и пошел в народ, чтобы увидеть подлинную жизнь. Пошел, чтобы сблизиться с народом как равный с равным, а сблизившись, рассказать о нем.

«Диоген, что ли? Ищет правды?» — поглядывал молча на него Аксаков.

Сидевший перед ним бородатый человек с длинными волосами, в красной рубахе, мятых плисовых шароварах, в стоптанных сапогах с отворотами, в очках, сквозь которые видны беспокойные глаза, улыбнулся и, как будто угадав мысли Аксакова, сказал:

— Мы часто говорим, что очень любим народ, только не хотим изучать его нужды, а, сидя в кабинете, все о нем сочиняем. Народ и смотрит на нас недоверчиво...



Павел Иванович Якушкин.
Гравюра
Музей-усадьба «Абрамцево».

Якушкин заметил встревоженный взгляд хозяина и, поняв, что хватил через край, сказал:

— Ну и погодка! С утра как зарядил дождь...

Аксаков спокойно продолжал беседу.

— Как там, в глуши? Об освобождении крестьян что говорят? — спросил он, пытливо посмотрев на Якушкина и подумав: «А может быть, прав Якушкин? Писатель не должен запереться в кабинете, там жизни не увидишь».

— Многие говорят, и все по-разному, — ответил Якушкин.

И он стал рассказывать Аксакову о виденном во время странствий.

Впоследствии очерки Якушкина о жизни в российском захолустье были помещены в виде «Путевых писем» в «Современнике» и «Отечественных записках». О помещиках, готовящихся к освобождению крестьян, Якушкин рассказывал:

«— По губерниям собирались дворяне и подавали всякие проекты государю о положении крестьян.

Вот в дом дворянского собрания входит некто, заходит в буфет и находит там чуть ли не всех местных дворян.

— Что же вы здесь, господа, делаете? — спросил он одного из них.

— Водку пьем! — отвечал тот, закусывая соленым грибом.

— Что же не идут в залу собрания?

— Да что же там делать?

— Как что?

— Да там Семен Петрович читает свой проект, что сам написал.

— Ну, так слушать этот проект.

— Нечего там слушать, никто и не слушает. Один и читает.

Заглянул этот некто в залу: там один барин читает, а другой барин этого барина с видимым вниманием слушает.

— Там Семена Петровича кто-то слушает, — сказал он, воротившись в буфет.

— А это, верно, Петр Семенович. Ну да, это Петр Семенович!

— Отчего же один только Петр Семенович слушает Семена Петровича?

— Потому нельзя не слушать.

— Отчего же?

— Нельзя: Петр Семенович должен Семену Петровичу».

Аксаков внимательно слушал Якушкина, потом спросил:

— Ну, а крестьяне как?

— По-разному, Сергей Тимофеевич, по-разному. Много бунтов народных пришлось видеть.

И Якушкин снова стал рассказывать. Язык Якушкина — своеобразный, яркий. Никто до него так не говорил и не писал. Значит, не зря исходил этот странник чуть ли не пол-России. Видно, пошло впрок. Чуткое ухо Аксакова уловило родственную ему манеру повествования: простоту и ясность. Люди раскрывались в их речи, поступках.



Петр Васильевич Киреевский.
Рисунок Э. А. Дмитриева-Мамонова. 1848 г
Гос. Третьяковская галерея.

— Скажите, Павел Иванович, говорят, вы, как офёня, товар мужикам продаете?

— Я и есть офеня, коробейник. Я без лукошка с товаром не показываюсь в деревне. Без дела какой может быть разговор с человеком? Мужики засмеют, скажут: блаженный какой-то, ходит по деревням да песни, прибаутки всякие записывает. С таким человеком люди по-серьезному, а то и вовсе разговаривать не станут. Мне же нужно жизнь народа посмотреть и по душам с мужиком поговорить.

Аксаков слушает и понимает, что Якушкин первый из русских писателей пошел по-настоящему в народ. Все, что видит, он показывает без прикрас, «без меда и млека», но и без нарочитой черной краски. Якушкин — не славянофил и не западник. Его душа с народом, в поэзии русской природы. Ему люб русский мужик и дорогá свобода.

Но тут Аксаков вдруг, даже с какой-то досадой на самого себя, подумал: «Почему так увлек меня этот странный человек? Что я ищю в нем? Может быть, нечто такое, чего у меня нет и чего я жажду?»

Якушкин наметанным глазом рассматривал Аксакова. Легко ему с этим барином. Не чета Погодину, Шевыреву и другим. Те пекутся о народе на словах, а мужика не знают и боятся его как черт ладана. Дай им власть, и — кто знает? — не поставят ли они народ на колени, закабалят мужика и рабочий люд пуще прежнего?

Сидя за столом, пытливо вглядываясь в глаза собеседника, Аксаков почти не говорил о себе, а старался побольше узнать о странном госте. Но в острых отрывистых вопросах Аксакова, в его кратких репликах раскрывался перед Якушкиным сложный образ старого писателя.

Аксаков заметил, что Якушкину не сидится на месте: он подымался с кресла, снова садился. То ли ему было неловко в грязном зипуне сидеть в бархатном кресле, то ли мокрыми сапогами наследил на начищенном до блеска полу, то ли некуда девать руки, истосковавшиеся по мыльной пене. Аксаков выглянул в окно, увидел, что дождь прошел, и спросил Якушкина, не пойдет ли вместе с ним поудить рыбу. Тот охотно согласился. Взяли удочки и пошли.

Засверкало солнце после дождя. Да как! Будто сверху кто-то опрокинул на землю чашу, до краев наполненную золотым светом.

Аксаков искоса поглядывал на Якушкина. Этот загадочный человек взбудоражил его. Как же так? Якушкин влюблен в родную землю, любит народ, очарован природой, русской стариной, поклоняется красоте древней русской поэзии. Ему бы только петь и петь про старину. Ан нет! Послушать Якушкина — совсем другое слышится. Он о войне бедных с богатыми говорит, о Пугачеве рассказывает, о будущем, о всеобщей артели, в которой должны жить люди...

Пришли к берегу Вори. Остановились у заветного местечка, где Аксаков часто просиживал часами с удочкой. Сели. Закинули удочки. Помолчали. И вдруг Аксаков, чтобы, может быть, огорошить Якушкина, спросил:



Река Воря в Абрамцево.
Место рыбной ловли С. Т. Аксакова.

— Так как же, по-вашему, довольны крестьяне жизнью? Или другого порядка захотели?

— Как народ похочет, так и уставится.

— Туманно уж очень...

— Какой туман?! Тут яснее ясного: хозяева готовы трудового человека заморить, если сами трудовые люди в свой разум не придут и не узнают, как они нужны. Пока не поймут, что купец один, а их во сколько! Они купцу нужнее, чем он им. Ему без них ни чихнуть, ни головой мотнуть!..

— Революция? — встревожился Аксаков. — Эти идеи к вам из Франции пришли?..

Но тут же Аксаков успокоил себя: «Ерунда! Что общего у этого офе-ни с парижанами? Посмотреть на него — не скажешь этого...»

Якушкин вытянул карася, и разговор пошел о рыболовстве.

Аксаков не сумел разобраться в Якушкине.

Кто он?

Но не могли разобраться в нем ни современники, ни многие из потомков.

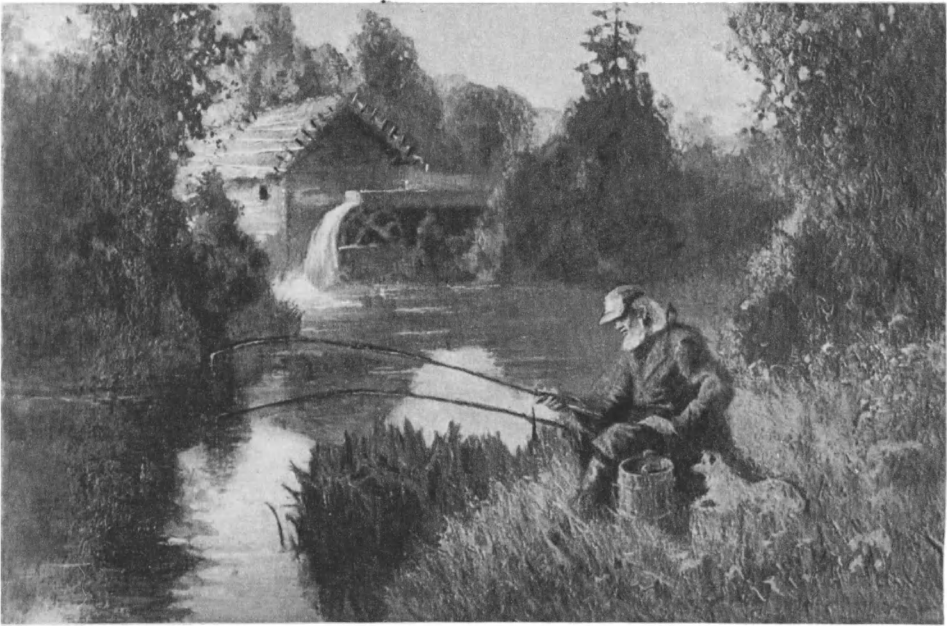
Некрасов, полюбивший Якушкина, привлек его к работе в «Современнике». Потом писал о нем в поэме «Кому на Руси жить хорошо», назвав Павлушей Веретенниковым:

...Да был тут человек.
Павлуша Веретенников.
(Какого роду-звания,
Не знали мужики,
Однако звали «баринном».
Горазд он был балясничать,
Носил рубаху красную,
Поддевичку суконную,
Смазные сапоги;
Пел складно песни русские
И слушать их любил.
Его видали многие
На постоянных двориках,
В харчевнях, в кабаках.)

Некрасов, видя мытарства Якушкина, нанял для него в Петербурге квартиру «с обедами», но Якушкин туда даже не заходил. Он охотнее ночевал в холодных прихожих или дворницких. Якушкин совершенно не ценил деньги. Был случай, когда он отказался от литературного гонорара в три тысячи рублей: «Мне,— сказал Якушкин,— так много не нужно».

— Где ваши вещи? — спросил его знакомый, встретившийся в пути.

— Какие вещи? У меня, милый человек, вещей нет. Всего только одна записная книжка...



С. Т. Аксаков на берегу Вори.
Картина В. С. Константинова. 1955 г.
Музей-усадьба «Абрамцево».

Лесков, земляк Якушкина, учившийся вместе с ним в Орловской гимназии, рассказывал: «Когда Якушкин, бывало, приходил ко мне в Петербурге и оставался ночевать, он укладывался всегда на коврике у кровати.

«Что ты, братец, норовишь на «собачье место»? Лег бы на диван».

«Не могу. Испачкаю. Диваны ведь у тебя плюшем крыты. Ида заругается. Мне жалко твою горничную, чистить ей придется больно долго...»

Но ни Некрасов, ни Лесков не знали того, что знала царская охранка, следившая за каждым шагом Якушкина, видя в нем опасного врага самодержавия.

В Петербурге одно время долго говорили о том, как Якушкин пытался спрятать незнакомую девушку, бросившую букет цветов к ногам Чернышевского во время совершаемого над ним обряда «гражданской казни» на Мытнинской площади в Петербурге.

Из донесений агентов тайной полиции стало известно спустя много лет, что Якушкин был связан с Чернышевским. «Поздно вечером,— писал агент,— пришли к Чернышевскому четверо мужчин, из коих один в

волчьей шубе, не покрытой сукном; они занимались до утра». В другом донесении было сказано, что этот «один» был в «красной рубахе, в высоких сапогах и плисовых шароварах» — обычная одежда Якушкина.

В материалах полиции, в «ведомостях о лицах, состоящих под наблюдением полиции», в графе № 341 значится: «Губернский секретарь П. И. Якушкин».

Петербургская охранка узнала о связи Якушкина с Львом Николаевичем Толстым. Якушкин заезжал к нему в Ясную Поляну. Охранка обнаружила, что «Якушкин с неизвестным студентом разъезжали по железной дороге и распространяли прокламации».

...Сидя теперь с Якушкиным на берегу Вори, Аксаков пытался уяснить себе странный поворот в жизни этого орловского помещика, дворянина, человека с образованием.

— А все-таки что, собственно, побудило вас, Павел Иванович, заняться этим... ну, этнографией, что ли?.. — спросил Аксаков, медленно подбирая слова, которые могли бы хоть приблизительно выразить его мысль о странной жизни своего гостя.

Якушкин понял, куда клонит Аксаков, но дал ему понять, что должны быть пределы любопытства, которые не следует переступать:

— Не клюет... Рыба поумнела, что ли? Или рыболов плох?

Якушкин отвлекал внимание Аксакова от своей персоны. Он знал, что слово за слово — и зайдет речь о его творчестве. А он не хотел теперь заводить беседу об этом. Неминуемо завязался бы разговор и о Стеньке Разине, и о Пугачеве, о которых Якушкин собирал народные песни и сказания. Впоследствии Якушкин по-иному, чем Тургенев, создал образ легендарного Тришки Сибиряка, защищавшего слабых от сильных, бедных — от богатых, крестьян — от злых помещиков. У Тургенева в рассказе «Бежин луг» Тришка — фигура мистическая; у Якушкина Тришка — образ реальный.

Якушкин — не только этнограф, собиратель песен, былин, старинных грамот, но историк и писатель. В связи, по-видимому, с народными сказаниями о Пугачеве, разысканными и опубликованными Якушкиным, произошел курьез. В Петербурге на Невском, в «Фотографии Берестова и Щетинина», был выставлен в витрине портрет Якушкина. Оборотистые фотографии стали продавать снимки Якушкина, выдавая их за портрет Пугачева.

Вскоре изображения Якушкина с надписью «Pougatsceuff» появились в Париже, продавались в Пале-Рояле.

...Солнце уходило на запад. Небо порозовело. Набегал ветерок — предвестник вечерней прохлады. Якушкин стал торопиться в дорогу.

— Куда вы? На ночь глядя?

— А мне что день, что ночь — все одно. Люблю в тишине походить...

Аксаков вспомнил, что не успел спросить о факте, очень интересовавшем его.

— Скажите, пожалуйста, Павел Иванович, а как ваш брат?



Шесть лип, посаженных Константином Аксаковым.

— Был на каторге...— ответил глухим голосом Якушкин и замолчал. Двоюродный брат Якушкина — декабрист Иван Дмитриевич Якушкин, один из основателей тайного общества «Союз спасения». В 1817 году он вызвался убить Николая I. Он был схвачен, закован в кандалы и отправлен на каторгу в Сибирь.

Аксаков переменял тему разговора.

По дороге к дому Якушкин стал рассказывать о различных приключениях во время своих скитаний. Но едва ли не самые несообразные события в жизни Якушкина были впереди. Нашумевшее «Псковское дело» — приключение Якушкина в Пскове — произошло в 1859 году. О нем были помещены многочисленные статьи во всех газетах. «Псковское дело» взбудоражило всю страну. Якушкин подробно описал событие в Пскове в журнале «Русская беседа», редактором которого был Иван Аксаков.

«Попал я в Псков,— писал Якушкин.— Отправился в полицию прописать паспорт. Чиновник посмотрел и с недоумением спросил:

— Вы губернский секретарь Якушкин?

— Точно так.

Он оглядел меня с головы до ног. Я был одет по-мужицки.

— Покажу ваш вид частному приставу,— пробурчал он и умчался с моим паспортом.

Вскоре он вернулся и пригласил меня «следовать за собой».

— Что? — заорал на меня пристав. Его благородие, видно, не мог говорить со мной на «вы», а на «ты» не решался. Оно избегало местоназваний.

— Пришел просить прописать мой паспорт,— смиренно сказал я.

— Губернский секретарь! — грозно проговорил пристав.— Как же можно так одеваться?

— По роду моих занятий,— ответил я с возможной учтивостью,— мне необходим этот костюм.

— Какие такие занятия требуют мужиком одеваться?

Я подал ему письмо редактора «Русской беседы», Ивана Сергеевича Аксакова, в котором подробно объяснялись мои занятия.

— Бумаги фальшивые! — рявкнул пристав.— Подписи фальшивые!

— Если фальшивые, то вы, как мне кажется, должны меня арестовать.

— Не разговаривать! — крикнул разгневанный пристав уже чуть ли не фальцетом, да так, что стекла задрожали, и отправил меня в арестантскую.

Я хожу по деревням и, изучая быт, часто выбираю избы для ночлега поплоче. Стало быть, к грязи присмотрелся. Но такой грязи, какая была в арестантской, не встречал. Я целую ночь присесть не мог. Комната... Нет, не комната, а яма, подвал, перегородженный, неизвестно для чего, пополам. Пол мокрый, на котором паскудят и который не чистят. Окно в четверть вышиной и аршин длиной...



Тимофей Степанович Аксаков (отец писателя) с двумя сыновьями:
старшим, Сергеем, и младшим, Николаем.

Картина неизвестного художника конца XVIII века.

Музей-усадьба «Абрамцево».

— Ты за что попал? — спросил меня один арестант, паренек лет семнадцати, которого я увидел на другой день поутру. Ночью в арестантской огня не было.

— Не знаю, брат!

— Верно, стянул что?

— Нет, пока бог миловал... А ты за что? — спросил я его, в свою очередь.

— Да от барина сбежал. Напился пьян, на улице подняли. Вот одиннадцать дней как держат, хоть бы в баню повели.

Баня этому парню была во как необходима: буквально каждый волос на голове был усеян насекомыми.

— Что же с тобой будет?

— А приведут меня к господам моим, те в ту же пору половину головы обреют, выпорют, а там через три дня еще выпорют, а там еще через три дня выпорют. До трех раз, да и оставят.

— А разве было уж с тобой это?

— В другой раз...

Наутро меня повели наверх. Привели и снова увели. Так продолжалось шесть дней. Потом выпустили с условием, чтобы я немедленно оставил Псков. Я уехал».

Рассказы Якушкина все больше и больше увлекали Аксакова. «Вот она, подлинная Русь! Бесправие, мракобесие...» — думал он.

Якушкин спокойно вытащил из глубокого кармана большой клетчатый платок, снял очки, протер их и, взглянув поверх надетых очков на Аксакова, сказал:

— Куролесовщина!

— Читали? Мою «Семейную хронику»?

— Читал, конечно.

— Как вы находите мое повествование, Павел Иванович?

— Бочка меда.

— А дегтя?

— С наперсток. Вы показали одного кровопийцу Куролесова, а их у нас тысячи: Куролесов-помещик, Куролесов-городничий, Куролесов-министр, Куролесов — сам батюшка...

Увидя вытянувшееся лицо Аксакова, Якушкин как бы проглотил слово «царь» и только улыбнулся:

— Куролесовщина! Вот в чем заковыка!

Была уже ночь, когда Якушкин расстался с Аксаковым. Сергей Тимофеевич вышел проводить гостя. Крепко пожав протянутую руку, Якушкин легкой походкой пошел вперед.

То ли свет месяца преобразил удалявшегося человека, то ли длинная черная тень, потянувшаяся за ним, удвоила его рост — Якушкин показался Аксакову огромным, угловатым и далеким...

Прошли годы. И под конец жизни судьба снова свела Якушкина с Аксаковыми.



Григорий Сергеевич Аксаков с женой и дочерью Олей.
Фотография.

Музей-усадьба «Абрамцево».

Исходив сотни верст, изрядно потолкавшись в придорожных кабаках, наговорившись досыта в крестьянских избах, наигравшись с деревенской детворой, Якушкин направился в Петербург.

Недолго пришлось прожить в Петербурге. После появления его в партере Марининского театра в мужицком платье и резкого разговора с петербургским губернатором Якушкин был выслан из Петербурга в Орел — «по местожительству»; оттуда через некоторое время — в Красный Яр, а потом дальше — в Енотаевск.

Якушкин не мог вынести тяжелые условия жизни в Енотаевске и просил разрешения выехать в Самарскую губернию. Ему разрешили, но с оговоркой: жить только в уездных городах, но не в губернском городе, «каковым является город Самара». В Самаре Якушкин заболел. Полиция гнала его дальше — в глубь губернии.

Больной, издерганный преследованиями полиции, Якушкин метался, не зная, что ему делать. Ехать теперь в одну из уездных трущоб Самарской губернии он был не в силах. Его поддержали местные литераторы, которые добились, что его принял самарский губернатор.

Самарским губернатором был Григорий Сергеевич Аксаков.

— Я — Якушкин, — сказал вошедший.

— Знаю.

— Пришел просить помощи. Первый раз в жизни. А может быть, в последний.

— Чего вы хотите?

— Не высылайте меня. Сил нет.

— Хорошо. Рассмотрю ваше дело.

— Глядя на вас, я не могу без волнения вспомнить встречу с вашим отцом.

— Вы видели Сергея Тимофеевича?

— Мы провели целый день. Даже вместе удили рыбу. Замечательный писатель, но...

— Что «но»? Извольте говорить до конца. Мне дорога память людей о покойном отце.

— Он многого не понял. Многого чурался...

— Почему вы так думаете?

— Хотя бы взять меня. И меня он убоился. Мы слишком о многом молчали. Но в молчании многое почувствовали...

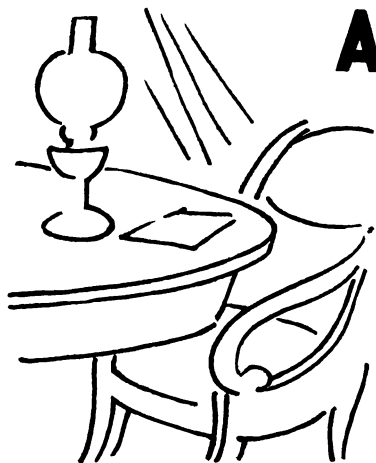
По указанию губернатора Якушкин был оставлен в Самаре и, будучи больным, помещен в городскую больницу.

Вскоре Якушкин умер.

Григорий Сергеевич Аксаков долго думал в те дни о своем отесеньке. Он вспоминал о том, как люди всех рангов и сословий, разных верований и убеждений — все тянулись к отцу.

Правда — это воздух, без которого дышать нельзя.

Тургенев



АБРАМЦЕВО утопает в снегу. Ближится ночь. «Кажется, удастся поработать...» — думает Аксаков. Но у крыльца раздается шум. Вбегает Константин.

— Гости! На двух тройках... Кто — не знаю... — едва успеваешь сказать отцу.

Не дожидаясь встречи, в дом ввалилась веселая ватага. Лица покраснели от мороза. Впереди, протянув руки для объятий, шел Тургенев. За ним Щепкин, князя Андрей Васильевич и Юрий Александрович Оболенские, Гильфердинг с сыном.

— Сергей Тимофеевич, принимайте гrehоводников! — сказал Тургенев вышедшему в прихожую Аксакову. — Поздно выехали из Москвы, устали как черти...

— Спать, скорее спать, да в теплую постельку! — потирал руки и приговаривал Щепкин.

Константин суетился, предлагал ужинать, но после решительного отказа увел гостей наверх, уложил их на широких диванах. На одном диване легли Тургенев и князь Юрий Оболенский, на другом — Щепкин и Андрей Оболенский, за легкой перегородкой — Гильфердинг с сыном, известным в то время филологом, и Константин Аксаков

Как только улеглись, у Гильфердинга с Константином завязался спор. Спорили о том, «оправдывает ли буква «еры» букву «ер» или не оправдывает». Спор был горячий; каждый старался доказать свою правоту.

Значение буквы «ер» (твердого знака) в русском алфавите вызвало разногласия. Константин Аксаков, автор труда по русской грамматике, спорил с Гильфердингом о твердом знаке с уверенностью знатока. Но Гильфердинг не сдавался. Голос у него был тоненький, писклявый, а Константин гремел густым баритоном. Никто, конечно, не мог уснуть. Тогда Тургенев соскакивает с дивана, направляется к спорящим и старается спокойно их вразумить:

— Помилуйте, Константин Сергеевич! Как может буква «ер» что-нибудь оправдывать, когда она сама нуждается в оправдании?..

Шутка вызвала смех. Вскоре установилась тишина. Усталые гости уснули.

Сергей Тимофеевич не спал. Приезд Тургенева... Много писем было написано друг другу. Не раз устанавливалось время встречи, но Тургенев не появлялся. Правда, в прошлом году Тургенев заезжал как-то в Абрамцево, но пробыл недолго, даже поговорить обстоятельно не успели. А накопилось много недоуменного... Теперь наконец Тургенев здесь...

Долго не мог уснуть Аксаков — все думал о Тургеневе.

Какая у них странная дружба! Люди они разные, верят они каждый в свое. Тургенев моложе Аксакова на двадцать семь лет. Встречаются редко, все больше переписываются. Что может быть общего у Тургенева, известного писателя, завсегда в литературных салонах Парижа и Лондона, со стариком Аксаковым, живущим в тиши своего маленького поместья, что у Хотькова монастыря, коротающим дни с чубуком у письменного стола или с удочкой у речки Вори? Что связывает их?.. Что влечет друг к другу?.. Так с этими мыслями и заснул Аксаков.

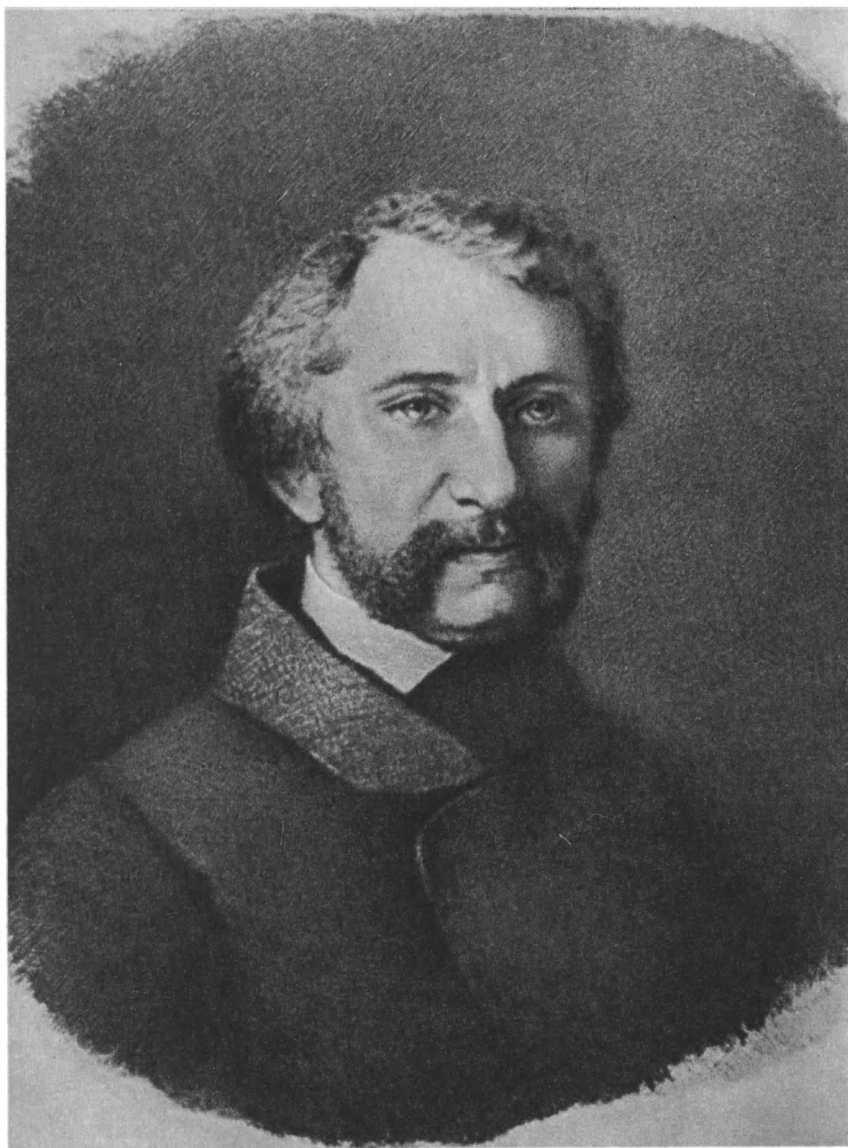
Наступило утро. В доме еще спали. Сквозь закрытые ставни пробивался синий лучик зимнего рассвета. Он был тоненький, но упрямый, струился и казался таким упругим, что его руками не согнуть. Он быстро терял синеву и становился золотым.

Аксаков потянулся, прислушался. Наверху, у Константина, гости еще не проснулись. Можно поразмыслить.

«О чем же это я?.. Ну да, о дружбе с Тургеневым. Так почему же при таком несходстве тянет меня к нему и, видно, его тоже влечет ко мне. Почему?»

И, как часто бывает, ответ пришел внезапно.

«Ну конечно же, это так! Ведь мы — охотники. И он, и я одинаково любим русский лес, нашу степь, и реки, и озера. Любим слушать «непередаваемое словами чириканье стрепетов, заливные звонкие трели кроншнепов, горячий бой перепелов...» Любим далекую тихую деревню. Не случайно мы вступили в литературу как охотники, почти в одно время, и Тургенев, и я. Правда, содержание сочинений у нас разное, но все же глаз охотника приметен и у Тургенева, и у меня».



Иван Сергеевич Тургенев.
Офорт Боброва с портрета работы художника Богомолова. 1854 г.
Музей-усадьба «Абрамцево».

Почти в каждом письме Тургенев, где бы он ни был, писал Аксакову об охоте, подсчитывая, сколько перепелов и куропаток он «убил на свое ружье». Даже из Лондона, где не было никакой охоты, Тургенев писал, что купил «чудесное охотничье ружье и двух замечательных собак».

«А главное, конечно, не в охоте,— размышлял Аксаков,— а в отношении к жизни, к миру. Великий он жизнелюб!..»

Много мыслей бродило у Аксакова. Но вот рассвет сменился погожим зимним днем. Солнце поднялось, и стало светлеть. Снег из розового уже становился белым. В доме проснулись. Наверху, где находились гости, раздались голоса.

* * *

Спустившись по крутой деревянной лестнице, Тургенев вошел в столовую. Стол был уже сервирован. Семья в сборе.

Тургенев высок, статен. Голубые лучистые глаза. Добродушная улыбка. На нем искусно сшитый модный костюм. В Москве говорили, что Тургенев обладает «магнитным притяжением». Отец Тургенева, бравый полковник, кирасир, передал сыну свой внешний облик.

За столом у Аксаковых, как всегда, шумно. Появление Тургенева вызвало радостные восклицания. Лишь одна Вера была мрачна. Она изредка исподлобья взглядывала на Тургенева с нескрываемой злобой.

Когда Вера узнала о приезде Тургенева, она не вышла навстречу гостям, а утром решила поехать в Хотьков монастырь, чтобы совсем не показываться, но маменька задержала. Тургенев был ненавистен Вере.

— Что вы нашли в нем, в хваленном красавце? — говорила Вера сестрам. — Вы посмотрите на него: огромная голова, не в меру приподнятые плечи, длинные волосы, почти седые, хотя ему нет еще сорока лет, неприятный взгляд... Это облик человека, преждевременно состарившегося. Ну, а когда заговорит — слушать тошно. Тургенев живет безнравственной жизнью. Он не имеет понятия ни о какой вере, у него нет бога в душе. Когда он читает стихи, то с пафосом декламирует, а впечатления от этого никакого. Лишь раздражает. Подлинная поэзия ему недоступна...

Вера Сергеевна не прощала Тургеньву его вольнодумства, его привязанности к знаменитой певице Полине Виардо. Тургенев был чужд Вере. Непонятен и враждебен, как пришелец из того греховного мира, что лежит по ту сторону духовной обители, в которой замкнулась ее душа.

Не любил Тургенева и Константин. У него были давнишние счёты с Тургеньвым. В семье Аксаковых не могли простить Тургеньву рассказ о Любозвонове, в котором все увидели Константина Аксакова. В глазах Константина Тургеньв был самым непримиримым представителем «западников». При встречах у них всегда возникали острые споры. Лишь внешне в их отношениях соблюдалась необходимая светская учтивость.



Вера Сергеевна Аксакова.
Автопортрет.
Музей-усадьба «Абрамцево».

Когда стали садиться за стол, Тургенев быстро занял место рядом с Сергеем Тимофеевичем. За столом наперебой задавали Тургеневу вопросы. Просили рассказать о заграничье, о театре, музыке, литературе. Аксаковы ждали от него панегирика Европе, но его не было. Впоследствии Тургенев еще больше удивил Сергея Тимофеевича, когда 8 января 1857 года писал ему о «литературном Париже»:

«Какая-то безжизненная суетливость, вычурность или плоскость бес-
силля, крайнее непонимание всего нефранцузского, отсутствие всякой
веры, всякого убеждения, даже художнического убеждения... Сквозь
этот мелкий гвалт и шум пробиваются, как голоса устарелых певцов,
дребезжащие звуки Гюго, хилое хныканье Ламартина, болтовня зара-

портовавшейся Санд; Бальзак воздвигается идиолом, и новая школа реалистов ползает во прахе перед ним, рабски благоговей перед Случайностью, которую величают Действительностью и Правдой».

...За столом завязался спор. И, как всегда, первым ринулся в бой Константин:

— Истинная поэзия — поэзия правды и любви — только у русского народа. Дайте духовную свободу России, и вы увидите, каких Гомеров и Шекспиров родит наша земля! Дайте возможность России пойти по своему, только ей предназначенному пути...

— Ну, Константин Сергеевич, — перебил его Тургенев, — тут мы с вами не сойдемся. Я признаю, конечно, своеобразие, особенности русского народа и русской жизни. Но отсюда отнюдь не следует, что Россия пойдет каким-то своим, особым, небывалым историческим путем, в отличие от всех других народов...

— Кушайте, кушайте, пожалуйста! За разговорами и про чай забыли! — угощала Ольга Семеновна и, чтобы сгладить острые углы спора, обратилась с улыбкой к Тургеневу: — Иван Сергеевич, вы по имени и отчеству мне как сын, ведь и у меня есть свой Иван Сергеевич, так уж слушайте свою мамашу: кушайте, а то у вас простынет...

— Спасибо, Ольга Семеновна, не избалован... Своего гнезда у меня ведь нет...

На другом конце стола раздался громкий смех. Это Щепкин рассказывал смешную историю. Великий актер, он покорял любого слушателя. В общем дружном смехе выделялся визгливый смешок Гильфердинга-сына.

После завтрака пошли гулять. Тургенев стал уговаривать Аксакова:

— Не советую, Сергей Тимофеевич, выходить сегодня. Вы посмотрите: эта резко-белая снеговая скатерть очень неприятна! Да еще людям со слабыми глазами! Вам, когда идете зимой гулять, надобно носить черную вуаль, иначе нельзя...

Тургенев незаметно вышел из комнаты, быстро накинул шубу и направился в парк. Ему хотелось побыть одному.

В парке, заваленном снегом, стало тесно: деревья, укутанные толстым слоем снега, как бы разбухли, тропинка стала узкой, перспектива сократилась. Холодно. Казалось, нависшее тяжелое, свинцовое небо, если бы его потрогать, окажется твердым и холодным, как ледяная глыба. Небо, небо... Тургенев писал Полине Виардо о небе, как о вечной и пустой беспредельности, «которое только благодаря земле сине и лучезарно»... «Ах! я не выношу неба, — но жизнь, действительность, ее капризы, ее случайности, ее привычки, ее мимолетную красоту... все это я обожаю. Я ведь прикован к земле...»

Он вспомнил свое письмо Аксакову. Старый охотник будил в нем какие-то особые чувства, и письма он писал ему тоже особенные: о «жизни», «общей и бесконечной гармонии природы», о «видимых и невидимых ее тайнах».



Зимний день в парке.

Пробираясь все дальше по лесу, Тургенев стал думать о другом. На смену пришла наболевшая мысль о жизни, проходящей «в мечтах и гаданиях» о судьбе людей, стремящихся к счастью, но не ведающих пути к нему, о лишних людях...

Постепенно в лесу стало меняться. Светлело. Выглянуло солнце. И властно, по-хозяйски начало длинными лучами разбрасывать по сторонам поредевшие облака. Небо очистилось, посинело. Лес стал нарядным. С солнцем, со светом пришли другие мысли.

Тургенев зашел далеко, оглянулся и стал выбирать из заснеженно-го леса. Вскоре он вышел на укатанную дорогу.

Далеко навстречу двигались две черные точки. Они то сближались, то расходились. Тургеневу хотелось встретить кого-нибудь, поговорить. Он зашагал быстрее. На белом фоне выростали черные фигурки. Тургенев увидел посох почти в рост человека, а за ним и самого человека — коренастого крестьянина, и рядом с ним маленькую старушку в черном платке, повязанном по самые брови, как у монашки. У странника был привязан к поясу помятый жестяной чайник с черным от копоти дном.

— Откуда идете? — спросил, поравнявшись с ними, Тургенев.

— Издалека... — нехотя ответил угрюмый человек.

— Богомольцы?

— Были в лавре...

— А какие такие грехи у вас, чтоб издалека идти?

— И не говори, батюшка барин, грехи-то большие! — заговорила старушка, поджимая губы.

Говорила она быстро, сыпала слова, как горох ссыпают в ящик: ловко катятся горошины одна за другой с однообразным стуком. Говорила старушка богомолка, и выростал рассказ об одной из многих крестьянских судеб. Тургенев увидел задавленных, замученных крестьян, потерявших надежду найти правду на земле и ищущих ее у бога.

Коренастый человек стоял молча. Его корявые пальцы сжимали посох, на который он тяжело опирался, чуть-чуть согнувшись и широко расставив ноги. Он глядел в упор воспаленными глазами в глаза Тургеневу. Он, видно, не ждал от барина ответа. Потом тронул старушку за плечо и решительно сказал: «Будет! Прощай, барин». Странник двинулся вперед. Старушка пыталась что-то еще досказать, но замолкла и засеменила за ним.

Тургенев смотрел им вслед.

Вскоре вместо богомольцев снова были две черные точки на белой безмолвной дороге. Они то сближались, то расходились...

Тургеневу стало как-то неловко, даже стыдно за философию о гармонии жизни, о которой он писал Аксакову.

— Какая, к черту, гармония?... — громко, словно выругавшись, сказал он и повернул к дому.

— «Давненько не брал я в руки шашек», как говаривал Чичиков Ноздреву,— сказал Тургенев и поудобнее уселся в кресло, предвкушая интересную и обстоятельную беседу с Аксаковым. Он даже нервно потер ладони, как это делают гурманы, собираясь отведать лакомое блюдо.— Давненько, дорогой Сергей Тимофеевич, мы с вами не беседовали...

— А я все ждал вас, Иван Сергеевич. Одно письмо, другое, третье, а вас все нет. Уж я истосковался,— ответил Аксаков.

Сидели в кабинете. Наступали зимние сумерки, но в комнате было еще светло. Отчетливо выделялся над столом портрет Гоголя.

— Тяжелые времена, Иван Сергеевич. В один год мы потеряли Гоголя, Жуковского и Загоскина. Помните:

Иных уж нет — а те далече,
Как Сади некогда сказал...

— Замечательный был человек Михаил Николаевич Загоскин. Помню, приходил он к моему отцу...— стал рассказывать Тургенев.

Заговорили о Загоскине. Но вскоре получилось так, что жизнь Загоскина послужила ключом ко многим острым вопросам. Вспыхнувшая, как фейерверк, слава Загоскина таила в себе много необъяснимого. Каждый из собеседников разгадывал эту загадку по-своему.

Тургенев, видя, с каким увлечением Аксаков говорит о Загоскине, ставил ему вопрос за вопросом, стараясь в его ответах уяснить себе, каковы убеждения самого Аксакова, каковы его суждения по вопросам современной литературы, в чем его вера, его устремления. Тургеневу хотелось глубже проникнуть в психологию старого рыбака и охотника, стяжавшего под конец жизни славу выдающегося писателя.

Тургенев начал издаека:

— Я как-то приехал к Загоскину, когда он уже не выходил из дому и жаловался на боль в суставах. Внешне он не изменился: все тот же привычный взмах бровей, вытаращенные глаза. Я рассказал ему, что снова появился интерес к «Юрию Милославскому». Он оживился. Должен вам сказать, что я только теперь, после смерти Загоскина, понял, что популярность его была огромна. Почти все, кто знал грамоту, читали Загоскина. «Юрий Милославский» выдержал восемь изданий!

Аксаков промолчал. Кому, как не ему, был близок Михаил Николаевич Загоскин! Еще совсем недавно приезжал Загоскин в Абрамцево, сидел вот здесь, рядом... Как любил он аксаковское поместье! Подолгу бродил по парку, уходил далеко в лес. Возвращаясь, говорил, что Абрамцево напоминает ему детство.

— Больше всего волнует меня лес,— говорил Загоскин.— Он влечет своей таинственностью. Вы ведь знаете, что я большой охотник до страшных историй. Не могу выразить, какое наслаждение чувствую, когда слу-

шаю повесть, от которой волосы становятся дыбом, сердце замирает, мороз продирает по коже...

Рассказывая теперь Тургеневу о тяготении Загоскина к острым сюжетам, «страшным историям», от которых «сердце замирает», Аксаков как бы подчеркивал, что именно эта сторона творчества Загоскина ему особенно ценна, так как сюжетность в литературе, или, как Аксаков называл ее, «изобретение», всегда была для него, Аксакова, «камнем преткновения» в его сочинительстве.

— Слава не сразу пришла, Загоскин ее завоевал,— сказал Аксаков.— Его трудоспособность должна быть примером для многих из нас...

Тургенев прервал Аксакова:

— Не вам, Сергей Тимофеевич, удивляться! У вас выходит книга за книгой.

— Ну, это как бы части одного целого — всё об охоте.

— Не скромничайте! Вы написали столько сочинений, да каких! Не считая статей, очерков...

— Суть-то не в количестве...— прервал Аксаков.— Вот и Загоскин за тридцать лет своей литературной деятельности написал более семнадцати пьес и свыше двадцати томов повестей и исторических романов. Многие думали: человек, мол, просто набил руку и, как ремесленник, сколачивает свои пьесы, но я видел совершенно другое. Пришел я как-то к Загоскину. Подошел к нему, а он не слышал моих шагов. Подошел и не узнал его — он был не похож на себя. Бледный, выражение лица подавленное, горестное. И слезы в глазах... Смотрит на меня, плачет. «Что с тобой?» — спрашиваю. Он протягивает мне тетрадь, мокрую от слез. Он плакал, описывая смерть боярина Кручины Шалонского. Вот как работал Загоскин над «Юрием Милославским»... Победа была куплена, можно сказать, кровью сердца.

Тургенев слушал молча. Им обоим было известно, что Жуковский, получив книгу, не мог оторваться от нее, читал ночь напролет. Пушкин писал, что «Юрий Милославский» — лучший роман нынешней эпохи. Слава Загоскина облетела всю Россию. В Москве продавали табакерки с портретами Загоскина, на Нижегородской ярмарке продавались платки с картинками из «Юрия Милославского».

— А в чем все-таки тайна такого успеха? — недоумевал Тургенев.— Только ли в занимательной фабуле романа, в его эмоциональности, поражающей читателя. Право, не пойму...

Аксаков промолчал. Стало тихо. Со двора не доходило ни звука. Да и кто может шуметь в морозную ночь в лесу, заваленном снегом, далеко от дороги!

Мирно светила настольная лампа под круглым, как шар, белым стекляннным абажуром. Изображения предков в золоченых рамах на стенах кабинета...

И думалось Тургеневу, что, может быть, истинное его место здесь, где живет Аксаков, где Загоскин навевает героические сны своими



Михаил Николаевич Загоскин.
Рисунок Э. А. Дмитриева-Мамонова.
Гос. Третьяковская галерея.

романами... Может быть, именно здесь ему жить, а не там, на чужой земле, за морями, за долами...

Тургенев походил по комнате, потом решительно сел, провел рукой по лицу. И, словно отогнав назойливые мысли, громко и даже как-то игриво, чтобы Аксаков ничего не заподозрил, спросил:

— Так в чем же его тайна? Как вы думаете, Сергей Тимофеевич?

Ответ был неожиданный:

— «Юрий Милославский» пронизан духом правды, высокой морали... А это ценит народ. Загоскин умел будить в людях любовь к родине. В этом смысле Загоскин — единственный исключительно русский народный писатель. Но он обладал также и мастерством романиста. Вы посмотрите, как он строит сюжет в своих романах и пьесах.

Для Тургенева было ясно, что, называя Загоскина «единственным исключительно русским народным писателем», Аксаков чрезмерно и совсем не по заслугам преувеличил значение Загоскина, но ему не хотелось огорчать Сергея Тимофеевича, и он промолчал.

Заговорили о взгляде Белинского на Загоскина.

«Юрий Милославский» был, в свое время, без всякого сомнения, приятным и замечательным литературным явлением,— писал Белинский.— Его действующие лица не только носят русские имена, но и говорят русской речью и даже чувствуют и мыслят по-русски,— что было в то время совершенно новым явлением в русской литературе. Присовокупите к этому добродушное увлечение автора, местами очень похожее если не на вдохновение, то на одушевление, рассказ плавный, не натянутый, язык не всегда правильный... но всегда живой,— и вы поймете причину чрезвычайного успеха этого романа. Г. Загоскин радушно, от души, со всем хлебосольством старых времен угостил русскую публику своим «Юрием Милославским». Но этим все и оканчивается. Исторического в этом романе нет ничего: все лица его списаны с простолюдинов нашего времени. Характеры, завязка и развязка романа,— все обнаруживает в авторе русского драматического писателя, навывкшего поддельную сценическую действительность почитать за зеркало настоящей русской жизни».

«Знаете ли, что «Юрий Милославский» не только сделал уже свое дело, но еще и продолжает его делать? Это доказывается его седьмым изданием. Нельзя же думать, что его покупают все одни и те же читатели: нет, он с каждым годом находит себе новых...»

Тургенев, улыбаясь, сказал:

— Что же, недаром, по-видимому, Загоскина называют русским Вальтером Скоттом.

— У нас любят рядить в иностранные одежды даже писателей,— ответил Аксаков.— Недавно писатель Кулиш Пантелеймон Александрович при встрече жмет руку и говорит мне: «Вы подобно Вальтеру Скотту сохранили до старости способность покорять сердца читателей...» Помилуй бог, сколько же у нас Вальтеров Скоттов народилось! Загоскин —

Вальтер Скотт, я тоже Вальтер Скотт. Нет, Загоскин не Вальтер Скотт, а подлинно русский писатель. «Юрий Милославский» принес ему славу не потому, что сделан по рецептам Вальтера Скотта, а потому, что это — талантливое сочинение с русским народным сюжетом. Это — наша история и наши родные герои. А вот «Рославлев, или русские в 1812 году» — тоже исторический роман, написанный в такой же манере, — ему не удался...

— Так ведь это из эпохи двенадцатого года. Это роман почти о наших современниках. Не в этом ли загвоздка? — сказал Тургенев.

— Жуковский говорил Загоскину, что рано писать об Отечественной войне, — сказал Аксаков. — Еще люди, мол, живы и ходят между нами. Считаю, что это неверно. Пример тому вы, Иван Сергеевич. И «Записки охотника», и «Рудин», и все, что вы пишете, — это о наших современниках. Никакой этаким дистанции не нужно соблюдать писателю. Все это надуманно. Вот и меня домашние мои упрекают, что я пишу о родных — дескать, живых людей описываю...

Но об этом говорить не хотелось, и Аксаков, чтобы переменить разговор, спросил:

— Ну, а как Фет поживает, что пишет?

— У него замечательный талант, душистый, если можно так выразиться, — ответил Тургенев. — Но, к сожалению, он немного выдохся. Он добрый малый, смахивает немного на малоросса с немецкой закваской. Немецкое отозвалось в нем преувеличенным уважением к разным так называемым систематическим взглядам на жизнь... И еще у него какая-то склонность к архаизмам: он вместо «грудь» почему-то пишет «перси». Очень хорошо у него описание летней ночи, которое он мне недавно читал. Ну, взять хотя бы эти две строки:

И сыплет ночь своей бездонной урной
К нам мириады звезд.

Заговорили о патриотизме, о долге писателя.

— Знаете, Сергей Тимофеевич, насколько у меня хватает сил, пытаюсь воплотить то, что Шекспир называет «образ и давление времени». Стремлюсь показать русского человека наших дней, уловить сложный, многообразный, меняющийся облик нашего современного русского общества.

— Вам это под силу, Иван Сергеевич. Не всякий писатель сумеет.

— А вам не под силу? Только бы захотели.

В подтверждение своих слов Тургенев, попав потом в Париж, писал Аксакову об успехе переведенных на французский язык «Записок ружейного охотника».

Творчеством Аксакова заинтересовался тогда крупнейший во Франции журнал «Revue de deux mondes», который готовил о нем специальную статью.

Долго еще они беседовали. Тургенев коснулся в разговоре заветной мысли Аксакова — о правде жизни в литературе.

— Правда — это воздух, без которого дышать нельзя. Но должен вам сказать — искусство требует и вымысла, воображения, мечты.

Беседа то затухала, то снова разгоралась от случайно оброненного слова.

Тургенев упомянул о «междоусобице» в литературе, сказав, что после Гоголя наступило междоусобице — эпоха между Гоголем и будущим великим талантом, который станет во главе русской литературы.

Мысль о писателях «междоусобицы» долго еще привлекала внимание Тургенева. Спустя год после разговора с Аксаковым в Абрамцеве Тургенев писал ему из Парижа: «Мы разрабатывали в ширину и в разбивку то, что великий талант сжал бы в одно крепкое целое, добытое им из глубины; что же делать! Так нас и судите!»

Аксаков, причисляя и себя к писателям этой эпохи — «между Гоголем и будущим главою», считал, что заслуга этих второстепенных писателей только в том и заключается, что они готовят почву для будущего гения: «Без нас невозможно появление гениального писателя». Аксаков горячо потом утверждал, что «всякий кладет свой камень при построении здания народной литературы; велики или малы эти камни, скрываются ли внутри стен, погребены ли в подземных сводах, красуются ли на гордом куполе, — все равно, труды всех почтенны и достойны благодарных воспоминаний».

Нынешний разговор Аксакова и Тургенева убедил обоих, что они в равной мере верны духовному наследию Гоголя.

Еще о многом надо было поговорить, но не удалось. Вошли вернувшиеся с прогулки Щепкин, князя Оболенские, Гильфердинги, и завязался общий разговор.

* * *

Вечером, после чая, по традиции перешли в гостиную, чтобы заняться чтением и обсуждением прочитанного.

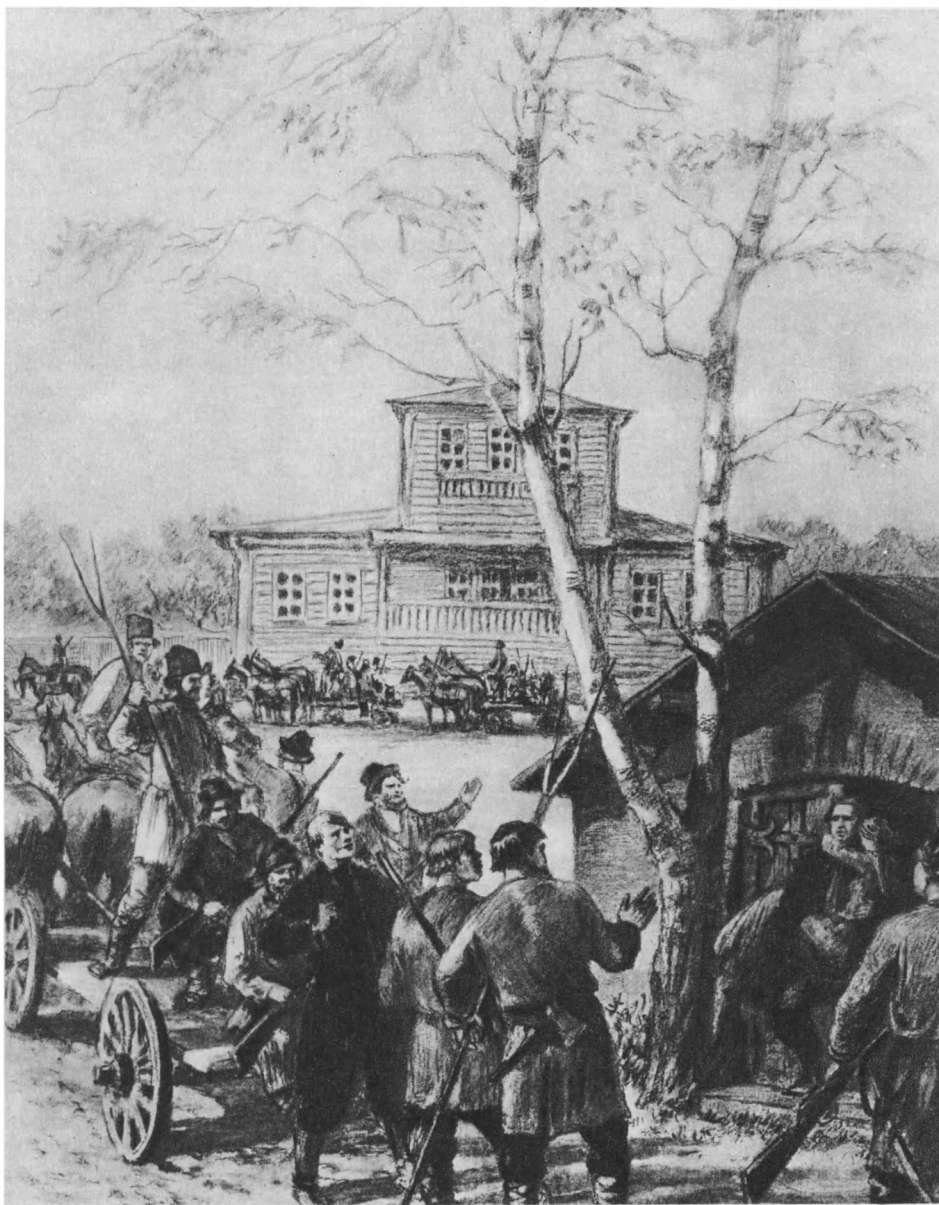
Тургенев предложил Аксакову прочесть что-нибудь из написанного.

— Сергей Тимофеевич, — сказал Тургенев, — вы уж не отказывайтесь! Ведь сами обещали мне, если приеду, то вы зачитаете меня до обморока. А вот вам и критика налицо! — И он широким жестом указал на сидящих за столом. — Суд будет правый. На искренность его можете положиться.

Аксаков взял со стола толстую рукопись, долго рылся в ней, вытащил несколько листов и сказал:

— Я прочту вам отрывок из «Семейной хроники», запрещенный цензурой. Читающая Россия увидела лишь изуродованное подобие написанного. Теперь прочту вам свое.

Аксаков читал о Куролесове:



Степан Михайлович Багров освобождает свою двоюродную сестру, заточенную Куролесовым.

Иллюстрация К. А. Клементьевой к книге С. Т. Аксакова «Семейная хроника». 1955 г.

Музей-усадьба «Абрамцево».

— «Любимым его наслаждением было — заложить несколько троек лихих лошадей во всевозможные экипажи, разумеется с колокольчиками, насажать в них своих собеседников и собеседниц, дворню, кого ни попало, и с громкими песнями и криками скакать во весь дух по окольным полям и деревням. Имея с собой всегда запас вина, он особенно любил напоить допьяна всякого встречного, какого бы звания, пола и возраста он ни был, и больно секал того, кто осмеливался ему противиться. Наказанных привязывали к деревьям, к столбам и заборам, не обращая внимания ни на дождь, ни на стужу. О более возмутительных насилиях я умалчиваю. В таком расположении духа ехал он однажды через какую-то деревню. Проезжая мимо овинного тока, на котором молотило крестьянское семейство, он заметил женщину необыкновенной красоты: «Стой! — закричал Михайла Максимович. — Петрушка! Какова баба?» — «Больно хороша!» — отвечал Петрушка. «Хочешь на ней жениться?» — «Да как же жениться на чужой жене?» — отвечал, ухмыляясь, Петрушка. «А вот как! Ребята! бери ее, сажай ко мне в повозку...» Женщину схватили, посадили в повозку, привезли прямо в приходское село, и, хотя она объявила, что у ней есть муж и двое детей, — обвенчали с Петрушкой, и никаких просьб не было, не только при жизни Куролесова, но даже при жизни Прасковьи Ивановны. Когда же все имение перешло в руки ее племянника, он возвратил эту женщину вместе с мужем и детьми прежнему ее господину: первый муж давно уже умер. Наследник, то есть тот же племянник, роздал также несколько разных вещей прежним хозяевам, которые предъявили свои требования; многие же вещи долго валялись в кладовых, пока не истлели от ветхости. Трудно поверить, чтоб могли совершаться такие дела в России, даже и за восемьдесят лет, но в истине рассказа нельзя сомневаться».

— Непостижимо! — воскликнул Тургенев. — Вот до чего дошло бесправие русского крестьянина!

— А я, господа, и не такое видывал в свое время! Да и не только видел, но и сам испытал... — сказал Щепкин.

Аксаков прочел и другие отрывки о Куролесове.

Тургенев сидел в кресле, заложив ногу на ногу, склонив голову. По мере того как следовал рассказ о новых и новых зверствах Куролесова, Тургеневу уже не сиделось. Он порывался встать. Прикрывал ладонью глаза. Чем дальше, тем труднее ему было сохранять спокойствие.

В сознании проносились картины жизни в Спасском, своем родовом имении.

Раннее детство... Утро. Веранда, увитая зеленью. Темный плющ цепко вьется, лезет вверх, пытаясь заслонить солнце. Тропинки бегут в пугающий сумрак огромного парка. На веранде мальчик. Он один. Ему жутко. Слышны крики. На конюшне по велению маменьки бьют плетью дворовую девушку. Куда убежать? Где спрятаться? Маленький Тургенев затыкает уши, но крик усиливается, он слышит его. Он узнает голос своей любимицы — веселой дворовой девушки с карими глазами. Он силит-

ся не плакать. Он сжал пальцы в кулаки. Снова крики, и он опять быстро затыкает уши.

«Папа, папочка!..— бросается с криком мальчик навстречу входящему отцу.— Скажи им, скажи!..»— И громкие рыдания сотрясают маленького Тургенева. Смущенный отец молчит, отводит глаза, зная, что он бессилён помочь.

Истязание крепостных происходило у помещицы Варвары Петровны Тургеневой часто.

Тургенев внимательно слушает Аксакова, но чтение кончилось.

— Я рассказал десятую долю того, что знаю,— говорит Сергей Тимофеевич,— но, кажется, и этого хватит. Примечательно, что Михайла Максимович Куролесов, дойдя до высшей степени разврата и лютости, ревностно занялся построением каменной церкви в Парашине.

— А как окончил свою жизнь Куролесов? — спросил Щепкин.

— Его отравили мышьяком. Отравили двое из его приближенных людей. Положили мышьяк в графин с квасом, который Куролесов пил, по обыкновению, в продолжение ночи. Яд был положен в таком количестве, что Куролесов прожил не более двух часов.

Тургенев подумал: «Как спокойно, однако, Аксаков говорит о столь значительных, порой страшных вещах! Какие простые слова, а как сильно...»

В этом была одна из главных черт аксаковского повествования. Таков был строй речи — спокойный, ясный. Не было назойливой предвзятости, навязывания читателю готовых мыслей. Аксаков не поражал грозным словом, изощренным сравнением. Но чем проще и яснее была речь Аксакова, тем сильнее она действовала.

Тургенев, однако, считал, что Аксаков, описывая смерть Куролесова, должен был показать свое отношение к этому событию. Волнуясь, он стал говорить об этом Аксакову, доказывая, что не такую смерть заслужил Куролесов.

Вера Сергеевна Аксакова так записала об этом в своем дневнике: «Тургенев расходился, пришел в неистовство, нервы его раздражились, и он жалел, что Куролесов не был наказан Степаном Михайловичем должным образом...»

— Я бежал в Европу,— волнуясь, сказал Тургенев,— потому что не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел. Мне необходимо было удалиться от моего врага, чтобы сильнее напасть на него.

Тургенев рассказал, как он сегодня встретил двух богомольцев.

— Вы понимаете,— говорил Тургенев,— они ни у кого нигде на земле не нашли защиты от ужасов барщины и пошли искать избавления и помощи у бога. Дни и ночи, сквозь пургу и метели ходят по русской земле странники, чтоб вымолить у бога свободу. А помощи ниоткуда нет. Да, господа, вот она, трагическая судьба нашего поколения, великая общественная драма России. Кто поможет, кто спасет?

— Как бы мужик сам топором не помог...— вполголоса сказал Аксаков.

Тургенев, не услышав реплики Аксакова, продолжал:

— Больше всего волнует смирение, с которым многие переносят барщину. Как рабы...

— Не Россия, а «Хижина дяди Тома»! — прервал его молчавший до сих пор Юрий Оболенский.— Как у Бичер-Стоу... Как черные рабы...

Слава американской писательницы Бичер-Стоу Харриет после выхода в свет в 1852 году ее книги «Хижина дяди Тома» быстро распространилась по всему свету. Книга была переведена на все европейские языки. Когда спустя год Бичер-Стоу предприняла путешествие по Европе, она всюду встретила восторженный прием. В ней видели смелого обличителя рабства негров в Америке.

...Услышав реплику Юрия Оболенского, Тургенев, улыбаясь, сказал:

— В Париже я был представлен госпоже Бичер-Стоу... Я ждал, что увижу жестокого обличителя, свирепого, озлобленного человека... Но неожиданно для меня Бичер-Стоу оказалась простой, доброй, даже несколько застенчивой женщиной. Ей лет под сорок. Рассказывает об ужасах рабства, о нечеловеческих страданиях негров в Америке и как-то виновато улыбается. Она очень душевный человек!

— Вот как?! — удивился Щепкин, впившийся жадным взглядом в Тургенева.

— Зато дочери Бичер-Стоу... Их было две. Совсем другие. Рыжие, в красных бурнусах, со свирепыми кринолинами... Какие-то престранные фигуры. И держались они весьма странно...

— Пошли не в мать!..— резюмировал Щепкин.

Его прервал Константин:

— Суть не в рабстве и политической свободе, а в свободе духа. Нужно раскрыть душу народа — носителя добродетели, любви, всепрощения...

Долго говорил Константин и о творчестве своего отца. Это был перепев многочисленных его речей на собраниях славянофилов.

— Ужасами барщины меня не удивишь! — сказал Щепкин.— Не одного Куролесова встречал... И не один только Куролесов — подлец, а подлецы все те, кто видел его проделки и прощал ему... А об этом вы, Сергей Тимофеевич, ни словом не обмолвились.

— А цензура?..— проговорил молодой Гильфердинг.

До поздней ночи светились окна аксаковского дома.

На следующий день Тургенев уехал. Аксаков проводил его до саней, так и не договорив всего, что хотелось.

Еще одно, последнее сказанье —
И летопись окончена моя...

Пушкин



В ЯНВАРЕ 1856 года Аксаков встретился со Львом Николаевичем Толстым.

Не зная его лично, Аксаков ревностно следил за каждым новым появлением Толстого в печати.

Кто он — этот офицер в длинном, наглухо застегнутом мундире, с насупленным взглядом? Он скромн, застенчив. Но неуступчив в споре. Упорен в своих суждениях.

О Толстом рассказывали: человек странный, разговор идет с ним ладно, слушает и ведет речь разумно, а вдруг упрется и словно вас не слышит. Молод, что ли?

Так ли, этак ли, но всем было ясно, что новая могучая сила входит в русскую литературу.

«Читали ли вы статью Толстого в «Современнике»? — пишет Аксакову Тургенев. — Я читал ее за столом, кричал ура и выпил бокал шампанского за здоровье Толстого».

В пятом номере «Современника» за 1855 год был напечатан рассказ Толстого «Севастополь в декабре месяце».

В особом предисловии редакции, возглавляемой Некрасовым и Панаевым, говорилось:

«Редакция считает себя счастливой, что может доставлять своим читателям статьи, исполненные такого высокого современного интереса и притом написанные тем писателем, который возбудил к себе такое живейшее сочувствие во всей читающей русской публике своими рассказами: «Детство, отрочество, юность», «Набег», «Записки маркера».

В рассказе о Крымской войне «Севастополь в декабре месяце» Толстой писал:

«Вы увидите войну не в правильном красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами, а войну — в настоящем ее выражении — в крови, в страданиях, в смерти».

Рассказ Толстого глубоко взволновал Аксакова. Прочитав его, он тотчас ответил Тургеневу:

«Статью Толстого я прочел с восхищением и так же мысленно кричал «ура» и сочинителю, и тому, что она напечатана!»

Аксакова пленили толстовская правда, простота слова и сложность чувств и мысли. Его поразило в рассказе ни единым словом не сказанное, но всей душой услышанное гневное проклятие войне.

Вместе с тем противоречивые мысли и чувства вызывало толстовское отношение к борьбе и смерти вообще. Если поверить Толстому, то как быть с Куролесовым? У Аксакова как писателя не было на это четкого ответа. Без слов, в подтексте, Аксаков отнюдь не осудил крепостных, отравивших злодея. А Толстой? У него было непримиримое отношение к насильственной смерти, недопустимой, по его взглядам, ни при каких условиях. Иван Аксаков рассказал отцу про случай с Толстым в Париже. Кто-то посоветовал Толстому посмотреть публичную казнь преступника на гильотине. Казнь произвела на Толстого такое впечатление, что ночью ему снилось, будто его самого казнят. Проснувшись, он заметил царапину на шее, страшно испугался и решил, что это след увиденной казни человека. На следующее утро Толстой исчез. Оказалось, что он спешно покинул Париж и уехал в Женеву, чтобы прийти в себя.

У Аксакова завязалась крепкая дружба с Толстым.

О ней можно судить не только по частым встречам. Они стали близки как писатели. Толстой высоко ценил талант Аксакова. Известен случай, когда редакция «Современника» забраковала рассказ Толстого «Погибший». Это был первый вариант его рассказа «Альберт». Толстой запротестовал, ссылаясь на то, что рассказ предварительно читал Аксаков и дал положительную оценку.

Чем ближе Аксаков узнавал Толстого, тем больше ценил его дарование.

«Он умен и серьезен,— писал Аксаков Тургеневу,— он способен понимать строгие мысли, в какие бы пустяки ни вовлекала его пошлая сторона жизни. Я ставлю его очень высоко по задаткам, которые он дал нам, и, узнав его лично, еще более надеюсь на его будущую литературную деятельность».



Лев Николаевич Толстой.

Литография неизвестного художника по фотографии. 1856 г.

Музей-усадьба «Абрамцево».



Дом в Левшинском переулке в Москве, в котором жил С. Т. Аксаков (1855—1856 гг.) и где бывал Л. Н. Толстой.

Рисунок В. С. Аксаковой.

Музей-усадьба «Абрамцево».

Толстой часто бывал у Аксаковых. Делился со «стариком Аксаковым» новыми мыслями, планами, наблюдениями. Их отношения были ровными и спокойными, в отличие от мучительной дружбы с Гоголем и волнующих, романтических встреч с Тургеневым.

Памятно посещение Толстым дома Аксаковых в июне 1856 года.

К тому времени Аксаков закончил «Семейную хронику». В один из вечеров перед собравшимися друзьями Аксаков прочел несколько отрывков.

Среди гостей был Толстой. После чтения — беседа. Выслушав прочитанное, Толстой стал критиковать отдельные места. Высказывания Толстого четки, конкретны. Он говорит о старике Зубине, его отношении к своему дворецкому Николаю Калмыку, указывает, что рассказ о похищении красавицы татарки Сальме написан холодно, без любви и хорошо бы его либо переделать, либо вычеркнуть. Особое внимание Толстой обратил на эпилог, где Аксаков, обращаясь к предкам, говорит: «Могучею силою письма и печати познакомлено теперь с вами ваше потомство. Оно встретило вас с сочувствием и признало в вас братьев, когда и как бы вы ни жили, в каком бы платье ни ходили».

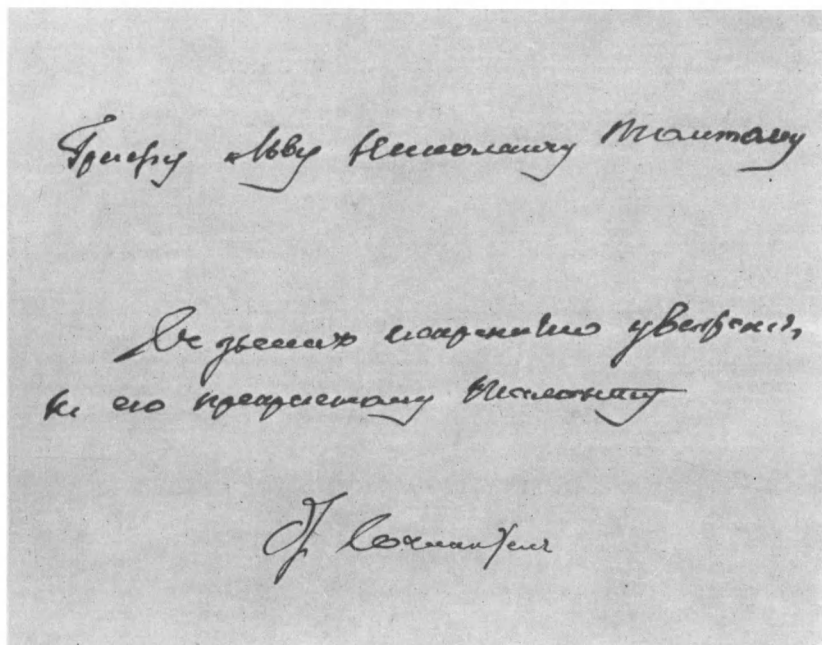
Тут Толстой стал горячо говорить о том, что «Семейная хроника» особенно ценна, так как в ней показаны живые люди, в которых, по словам

самого Аксакова, «есть и светлые и темные стороны, люди, в которых есть и доброе и худое».

Толстой долго говорит о характере людей. И казалось, что он хочет убедить самого себя в существовании некоей «текучести» человеческого характера. Находя подтверждение своей мысли в «Семейной хронике», Толстой оживленно развивал ее перед Аксаковым.

Спустя больше сорока лет после памятной беседы в доме Аксаковых Толстой в 1898 году записал в своем дневнике: «Как бы хорошо написать художественное произведение, в котором бы ясно высказать текучесть человека, то, что он один и тот же — то злодей, то ангел, то мудрец, то идиот, то силач, то бессильнейшее существо».

Толстой увидел в творчестве Аксакова то новое, что подтверждало его мысль о разносторонности духовного облика человека. Аксаков — враг схематизма в искусстве, всякой предвзятости, преднамеренности. У него все подчинено правдивому показу человека. Он говорит о неис-



Где-то вabby Александровичу Толстому
Александровичу Александровичу Толстому
К его предвзятости Александру

С. Аксаков

Надпись С. Т. Аксакова на книге «Семейная хроника», подаренной Л. Н. Толстому. 1856 г.

Музей «Ясная Поляна». Библиотека Л. Н. Толстого.

следованных глубинах человеческой психики, о том, что писателю нужно раскрывать «глубокие тайны духовной природы человека, а всего более ту запутанную и, по-видимому, необъяснимую совместимость противоположных качеств».

Толстой впоследствии углубил свою мысль о «текучести» характера, воплотив идею о многообразии человеческого образа в романе «Воскресение».

«Мы можем сказать про человека,— писал Толстой в «Воскресении»,— что он чаще бывает добр, чем зол, чаще умен, чем глуп, чаще энергичен, чем апатичен, и наоборот; но будет неправда, если мы скажем про одного человека, что он добрый или умный, а про другого, что он злой или глупый. А мы всегда так делим людей. И это неверно. Люди как реки: вода во всех одинакая и везде одна и та же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то теплая. Так и люди. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни, иногда другие и бывает часто совсем не похож на себя, оставаясь все между тем одним и самим собою».

Это очень роднит его с Аксаковым.

Толстой особенно ценил в «Детских годах Багрова-внука» правдивый тон повествования. Аксакову особенно важен был отзыв Толстого, выпустившего за шесть лет до выхода в свет книги Аксакова свое «Детство», «получившее живейшее сочувствие во всей читающей русской публике», как писали в некрасовском «Современнике».

«Детские годы Багрова-внука» Толстой считал наилучшим произведением Аксакова. Прослушав отрывки из этой книги, Толстой записал в своем дневнике: «Чтение у С. Т. Аксакова. «Детство» прелестно!», а в письме Боткину Толстой, в отличие от многих критиков, писал о «Детских годах Багрова-внука», что книга «...вся мне показалась лучше лучших мест» «Семейной хроники».

Это были самые ценные признания для Аксакова.

* * *

Закончив «Семейную хронику», Аксаков писал А. И. Панаеву: «Это последний акт моей жизни...»

Но это было не так.

Вслед за «Семейной хроникой» и «Детскими годами Багрова-внука» Аксаков пишет повесть «Наташа», большой рассказ «Собирание бабочек», целый цикл мемуаров, «Литературные и театральные воспоминания», воспоминания о Гоголе, Щепкине, Шишкове, Шушерине.

Повесть «Наташа» осталась незаконченной. По содержанию, стилю, жанру она напоминает «Семейную хронику» и «Детские годы». Она в такой же степени автобиографична.

Сюжет «Наташи» — помещицья быль.



Надежда Тимофеевна Карташевская, сестра С. Т. Аксакова.
Портрет работы неизвестного художника.

Музей-усадьба «Абрамцево».

...В одном из далеких закоулков России в тихой, старосветской помещицкой семье Болдухиных растет старшая дочь Наташа. Она, как описывает ее Аксаков, «имела от природы здравый и светлый ум, чуждый всякой мечтательности, но несколько не развитый ни учением, ни образованием, ни обществом». При ней гувернантка мадам де Фуасье и учитель — бывший капитан австрийской службы Глейхенфельд. Они и призваны были обучить Наташу «наукам и искусствам». Появляется жених — богач Солобуев. Но на руку Наташи претендует также и Ардальон Шатов — красавец со стотысячным годовым доходом от отцовского наследства. Болдухины рады счастью Наташи. Шатов «имеет природную склонность к резонерству», он образован, красноречив, не чужд либеральных идей. Но сердце Наташи глухо к достоинствам Шатова. Он своими умными речами, похожими на проповеди, вызывает у нее неприязнь. Видя, однако, восторги родных, «увлеченная увлечением матери», Наташа выходит замуж за Шатова. Наташа убеждается, что ошиблась.

«...Натура, личность Ардальона Семеныча были ей не по вкусу...»

На этих словах повесть обрывается.

Повесть «Наташа» — одно из лучших произведений Аксакова. Как в предшествующих его автобиографических сочинениях, в повести показаны реальные люди: Болдухины напоминают Багровых, в действительности Аксаковых, Наташа — сестру писателя Надеженьку, Солобуев — это Мосолов, за которого вышла замуж Надежда Тимофеевна Аксакова. После ранней смерти Мосолова она вышла замуж за Карташевского.

Судьба незаконченной повести своеобразна. Аксаков не мог ее закончить из-за «оппозиции» со стороны семьи. Здесь противодействие близких было сильнее, чем при его работе над «Семейной хроникой». Аксакову не дали возможности показать правду. А правда была действительно уж очень жестокой: таинственная смерть мужа Наташи, звериная борьба родственников за наследство, воровство, обман, подлоги. Все это — реальные факты из жизни Наташи — Надежды Тимофеевны Карташевской.

В 1858 году была издана новая книга Аксакова — «Разные сочинения».

В творчестве писателя эта книга занимает особое место. В нее вошли «Литературные и театральные воспоминания», статья о Щепкине, биография Загоскина, очерк «Буря».

Книга вызвала резкий отзыв Добролюбова, указавшего, что в ней «мало объективности, лирические порывы беспрестанно мешают эпическому спокойствию рассказа, заметно, что автор недостаточно возвысился над тем миром, который изображает».

Высоко оценив «Семейную хронику» и «Детские годы Багрова-внука» как произведения, изобличающие крепостное право — основное зло русской жизни, Добролюбов в новой книге Аксакова не нашел дальнейшего развития, усиления, обострения этой идеи. А время было такое,



Ефим Максимович, камердинер Аксаковых.
Рисунок В. М. Васнецова. 1882 г.
Музей-усадьба «Абрамцево».

что Добролюбов не мог не требовать от писателя гневного приговора окружающей действительности. В 1859 году, когда была написана статья Добролюбова об Аксакове, уже близилась волна освободительного движения в России. Критика революционных демократов не мирилась со спокойными, аполитичными воспоминаниями Аксакова о старине, а требовала гнева и протеста против режима «кнута и невежества». Аксаков же в своих «Разных сочинениях» описывал людей такими, какими он их увидел много лет назад, в своей юности, без критики, без новой переоценки старых ценностей. Глазами увлеченного жизнью, восторженного юноши увидены и показаны в книге Державин, Шушерин, Шишков, Щепкин.

Аксаков не критикует их, не судит, а дает живые портреты, правда, без глубокого исторического их осмысливания. Однако реальные образы, созданные Аксаковым,— яркая примета времен давно минувших, ценная для познания истории XIX века.

Особое место среди произведений, написанных Аксаковым в последние годы жизни, занимает «История моего знакомства с Гоголем».

В 1855 году он писал о ней матери писателя Марии Ивановне Гоголь: «Я пишу с полной искренностью: пусть рассудит справедливое потомство; я не щажу ни себя, ни других, окружавших Николая Васильевича».

Аксаков начал писать свои мемуары о Гоголе 9 января 1854 года. Он работал над ними с большими перерывами. Вначале он горячо взялся за работу. Он пишет сыну Ивану: «...Мне стало совестно, что я до сих пор не исполнил священного долга его памяти и потомству: не написал истории моего знакомства с Гоголем со включением всей нашей переписки».

За два месяца Аксаковым была продиктована значительная часть записок — шесть тетрадей. Потом Аксаков писал урывками. Мемуары о Гоголе остались незаконченными: последние записи относятся к 1843 году.

Последние произведения Аксакова...

Все они автобиографического и мемуарного характера. Не говорит ли это о том, что иссяк поэтический дар художника, потускнели краски его палитры, затуманилось аксаковское видение мира? Нет. Написанный за четыре месяца до смерти «Очерк зимнего дня» говорит о другом.

...Декабрь 1858 года. Аксаков прикован тяжелой болезнью к постели. Силы убывают. Страдания мучительны. Но он диктует:

«Воздух был сух, тонок, жгуч, пронзителен... Солнце вставало и ложилось с огненными ушами, и месяц ходил по небу, сопровождаемый крестообразными лучами; ветер совсем упал...»

«Мороз выжал влажность из древесных сучьев и стволов, и кусты и деревья, даже камыши и высокие травы опушились блестящим инеем, по которому безвредно скользили солнечные лучи, осыпая их только холодным блеском алмазных огней».



Наденька Аксакова.
Рисунок из семейного альбома Аксаковых.
Музей-усадьба «Абрамцево».

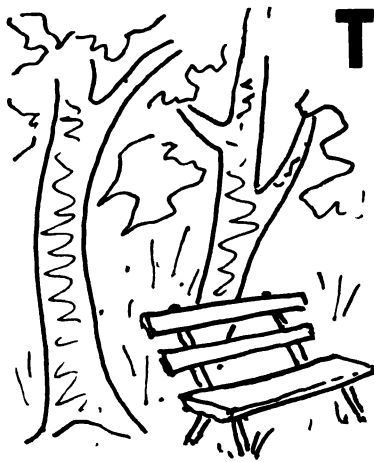
«...Я всегда любил смотреть на тихое падение или опущение снега. Чтобы вполне насладиться этой картиной, я вышел в поле, и чудное зрелище представилось глазам моим: все безграничное пространство вокруг меня представляло вид снежного потока, будто небеса разверзлись, рассыпались снежным пухом и наполнили весь воздух движением и поразительной тишиной».

Яркое, точное, выразительное — подлинно аксаковское! — описание зимнего дня таит в себе такую эмоциональную, поэтическую силу, что веришь, что видишь — Аксаков остается великим художником, чародеем русской речи до последних дней своей жизни.

В ночь на 30 апреля 1859 года Сергей Тимофеевич Аксаков умер. На 68 году жизни.

Как хороши, как свежи были розы...

Тургенев



ТУРГЕНЕВ часто вспоминал свои встречи с Аксаковым в Абрамцево. Вспоминал старого охотника и рыбака, лирика, задумчивого певца русского леса, человека то нежного и любящего, то гневного, если нужно отстаивать правду.

Шли годы.

Тургенев снова потянуло в аксаковские места. Он приехал в Абрамцево в 1878 году. Аксаковых уже не было.

Через год после смерти Сергея Тимофеевича умер Константин. Потеря отца потрясла его, и он тяжело заболел. Умер он далеко от родного дома, на маленьком острове Занте в Ионическом море. Его привезли туда маменька, брат Иван и Вера. Пытались спасти.

Через пять лет умерла Вера. За ней скоро Наденька, Люба...

Семьи Аксаковых почти не стало.

Одинокая, растерянная, маленькая старушка Ольга Семеновна все никак не могла понять: куда все сразу исчезло, рассыпалось в прах? И нет уже отесеньки, нет шумных чечеток-дочерей, и не слышно ни стихов, ни чтения... Она живет в Москве, а в Абрамцево тишина, безлюдье.

Сергей Тимофеевич покоится в Москве, в Симоновом монастыре, вблизи могилы поэта Веневитинова.

Прошло немало времени, а памятника Ольга Семеновна не может поставить: денег нет. Она пишет сыну Григорию: «С квартиры гонят, копейки нет в кармане...»

В абрамцевском доме доживал свой век старый слуга Аксаковых Ефим Максимович с дочерью Дуней.

Спустя одиннадцать лет после смерти Аксакова, в 1870 году, Абрамцево купил Савва Иванович Мамонтов.

...Тургенев долго бродил по старому парку, по заветным тропинкам и закоулкам. Он узнавал, как близких, аллеи, по которым ходил, где слушал неугомонный птичий разговор. Вот скамейка под липами, где он сидел со Щепкиным. А вот и Воря, где вместе с Аксаковым они удили рыбу... Он вытащил огромную щуку, к огорчению старого рыбака, у которого на этот раз рыба не клевалась...

Близился вечер. Знакомые запахи леса будили все новые и новые воспоминания о минувшем. Косые лучи заходящего солнца перекрашивали лесной пейзаж. Зелень почернела. И чем ярче разгоралось небо, тем больше темнел притихший лес.

Тургенев вспоминает Аксакова, показавшего в своих книгах и этот лес, и поле, и птиц в дубовой роще, и всех наперечет рыбок в Воре — все богатства земли.

Тургенева взволновал давешний разговор с Ефимом Максимовичем, рассказавшим о последних днях Аксакова. Многое он позабыл. Помогала дочь — шустрая Дуня. Она часто слышала рассказ отца и, когда он сбивался или пропускал что-нибудь, поправляла его.

— Тяжко было Сергею Тимофеевичу...— вздыхал Ефим.— Слепой, совсем слепой лежал в темной комнате. Лежит и тихо, чуть слышно стонет, как бы про себя... Так, чтобы никто не услышал. Жалел он своих «чечеток», любушек, дочек своих. Барыню Ольгу Семеновну жалел. Он всю жизнь любил ее, как невесту... А боли у него, боли были такие, что никто не в силах был унять. Даже сам доктор Овер и тот придет, посмотрит и руками разведет...

— А сынок ихний Конста...— подхватила Дуня.— Конста в ноги кланяется Оверу, умоляет, просит: «Спасите, ради Христа, отесеньку». И сам плачет, и плачет...

— Позвал меня барин к себе, велел подойти поближе к постели и говорит тихим голосом: «Смотри, Ефим, не покидай дома в деревне. Это был, говорит, мой рай земной. Смотри, чтоб сохранился в красе...» — вздохнув, продолжал Ефим Максимович.— Бывало, когда полегчает ему, проснетя и велит звать барышню Веру Сергеевну, чтобы писать. И долго, долго говорит ей, а она пишет... А потом выйдет она от Сергея Тимофеевича, утрет слезы...

Тургенев бродит по парку и вспоминает рассказ Ефима Максимовича.



Е. Г. Мамонтова.
Рисунок И. Е. Репина. 1879 г.
Музей-усадьба «Абрамцево».

Смеркалось. Птицы умолкли. Закат догорал. Далеко за рекой были слышны голоса. В памяти всплыли последние строки из некролога об Аксакове, помещенного в «Современнике»: «Мир праху честного и полезного гражданина! Имя С. Т. Аксакова займет почетную страницу в истории русской литературы».

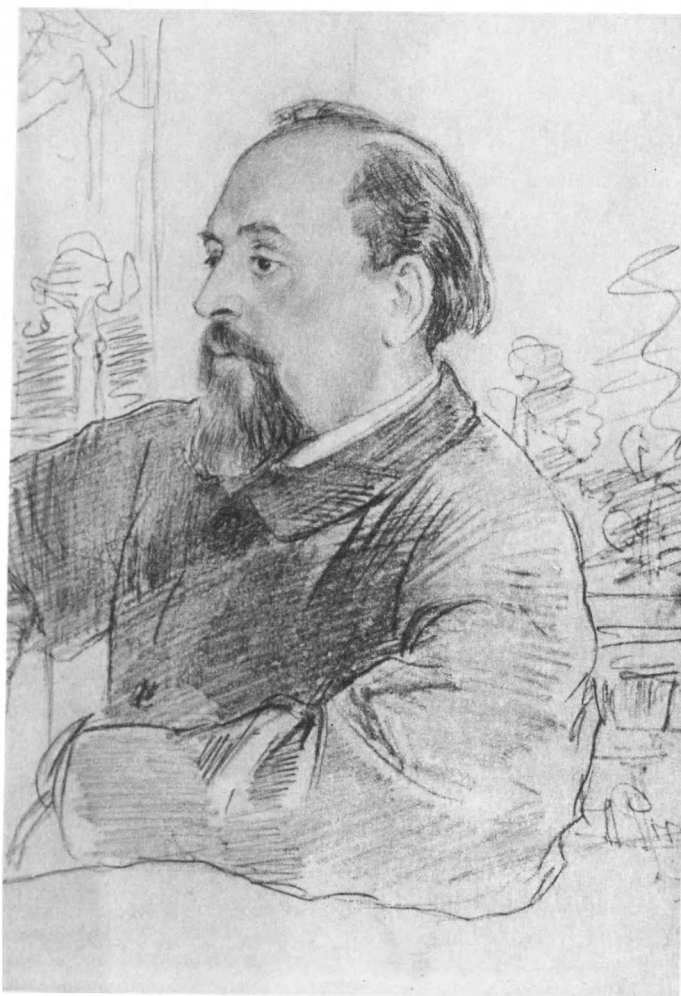
«Увидят ли люди, далекие потомки, истинный облик Аксакова? — думает Тургенев.— Поймут ли люди эту сложную жизнь, дойдут ли до самых ее корней?..»

Многим современникам жизнь Аксакова казалась безмятежной. А в действительности? Жизнь Аксакова — непрестанная борьба. В межевом институте он борется за Белинского. В тридцатых годах — за Пушкина. Двадцатилетняя дружба с Гоголем — это борьба за Гоголя, за реализм в искусстве. Аксаков ведет яростную борьбу против рутины классического театра, за Щепкина, за народный театр. Да, наконец, Аксаков, несмотря на крепкую сплоченность и любовь в семье, упорно сопротивляется влиянию родных, пытавшихся судить его творчество. А цензура, жандармы?

Тургенева волнует: сумеют ли потомки проникнуть в глубину аксаковских творений, где в простых, предельно ясных словах невысказанные мысли? Кто вскроет сложные противоречия в жизни и творчестве Аксакова: как понять горячую страсть, гнев и протест, отраженные в его личных письмах и записях, и эпически спокойное повествование в его книгах?

Находясь уже на смертном одре, в промежутках между жестокими страданиями Аксаков продиктовал свое последнее стихотворение, полное тревоги за судьбу родины. Это было в период подготовки крестьянской реформы. Стихи прозвучали как некий итог его жизни. Сколько в них боли, разочарования, неверия и сколько любви к народу, родине, к своей земле!

Жребий брошен... Роковое
Слово выслушал народ:
Слово страшное, святое
Произнес минувший год.
И смутилась Русь святая,
И задумалась она.
Что же ты, страна родная,
Глубоко потрясена?
Иль, не веруя в свободу,
Ты не смеешь говорить?
Иль боишься, что народу
Тяжелее будет жить?
С плеч твоих спадает бремя.
Докажи, что не рабой
Прожила ты рабства время...



С. И. Мамонтов.
Рисунок И. Е. Репина. 1879 г.
Музей-усадьба «Абрамцево».

Аксаков призывает народ к новой жизни. Но вместе с тем в стихах звучат тревога, сомнение:

...Покажи нам, как оковы
Скинешь ты с могучих ног,
Как пойдешь ты в путь свой новый,
Как шагнешь через порог,
 О который спотыкались
 Люди тысячу веков,
 Где мечты изобличались
 Человеческих умов...
Как проснется жизнь народа?
Как прервется тяжкий сон?..

...Тургенев вышел на поляну. Здесь было еще светло. Но лес, полукругом стоящий по краям поляны, все чернел и чернел. Тургенев направился к дому.

В доме его ждали. Елизавета Григорьевна Мамонтова вышла на встречу. Мягкая, ласковая, она приветливо встретила его и провела в столовую, где был приготовлен чай.

Все напоминало Аксаковых. Тургенев вспомнил былые дни, когда он, молодой и пылкий, направляясь из Москвы в Париж, заезжал в зеленый «аксаковский рай», чтобы душой как бы очиститься от гнетущих раздумий и забот.

Седой, состарившийся, сидит теперь Тургенев в столовой у Мамонтовых и вспоминает вместе с ними прошлое.

На колени к Тургеневу взобралась маленькая дочь Мамонтовых, Верочка, та самая, которая потом будет изображена художником Серовым на картине «Девочка с персиками». Верочка притаилась и слушает тихие речи старого гостя и маменькин рассказ о доме и о художниках, живущих теперь у них.

Елизавета Григорьевна рассказывает, как они попали сюда, в Абрамцево, и как счастливы, что случай свел их с дочерью Аксакова — Софьей Сергеевной.

— Софьюшка жила в Москве и очень тяготилась абрамцевским помещьем, которое перешло к ней по наследству, — рассказывала Елизавета Григорьевна. — Она сюда не ездила, и дом, и земля, и парк были брошены. Когда ей понадобились деньги, она стала искать покупателей. Мы с мужем колебались, думали: чего же покупать рухлядь столетнюю, ведь Аксаковы тоже сами не строили, а купили старый дом? Но когда посмотрели поместье, муж мой, Савва Иванович, сразу решил купить: ведь красота здесь какая! Все же дом тщательно осмотрели, думали — ремонт большой потребуется. Отодрали тесину — одну, другую, проверили бревна. И что же? Они оказались такими толстыми, каких сейчас не видать. Ну конечно, в доме мебель осталась, картины кое-какие.



Верочка Мамонтова.
Фотография.
Музей-усадьба «Абрамцево».

А тут еще рассказы старого слуги Ефима Максимовича об Аксакове, о всей их семье, о Гоголе. Все это так увлекло нас, что решили купить во что бы то ни стало. Савва Иванович на всем обратном пути в Москву только и говорил об этом замечательном уголке и так, знаете, размечтался, такие планы у него вдруг появились... Ну, он, если увлечется чем, то весь горит. Приехали в Москву и договорились с Софьюшкой: купили абрамцевское поместье за тринадцать тысяч рублей. И вот видите — живем здесь. А потом стали приезжать к нам художники, приятели Саввы, с которыми он в Риме познакомился. И жизнь у нас здесь пошла интересная.

Долго еще безыскусственно, но очень тепло и задушевно рассказывала Елизавета Григорьевна Мамонтова о новой жизни в Абрамцеве.

Тургенев слушает рассказ о выдающихся русских художниках — о Репине, Васнецове, Серове, Поленове и многих других, приезжавших сюда, чтобы запечатлеть в своих работах красоту аксаковского уголка. И светлая радость затеплилась в душе Тургенева: значит, не пропала аксаковская поэзия, она воскреснет в новых творениях других великих русских художников, пришедших сюда и по-новому продолжающих неоконченную лирическую повесть Аксакова.

Тургенев увидел новую, вторую жизнь Абрамцева.

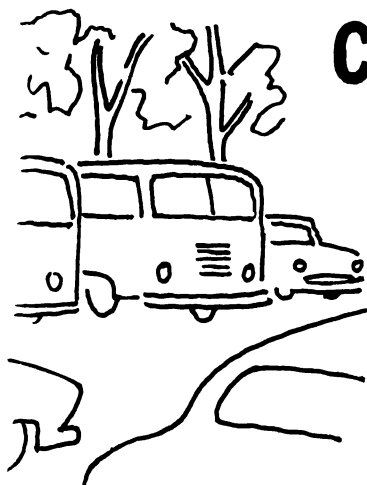
Приближалась ночь. Тургенев стал собираться в путь.

Когда экипаж спускался вниз по некогда знакомой и теперь вновь узнанной дороге, Тургенев обернулся и посмотрел на длинный серый дом с окнами, раскрытыми в далекие зеленые просторы... И в сознании зазвучали слова давно прочитанного стихотворения:

Как хороши, как свежи были розы...

Т Р И Ж И З Н И

(Вместо послесловия)



С НОВА потекли годы... Десятилетия.

Прошло сто лет.

...Шумная стайка школьников-экскурсантов, пришедших в абрамцевский музей, молча слушает рассказ о минувшем. Они — в парке, у «Васнецовской часовни». Ее строили и расписывали великие русские художники: Васнецов, Репин, Поленов, скульптор Антокольский. Школьники слушают рассказ об Аксакове, Гоголе, Тургеневе, дорогих нашему сердцу писателях, о великом, правдивом искусстве.

В парке зеленый свет. Огромный дуб у дома за сто лет разбросал крону в такую ширь, что под ней в жару до полусотни экскурсантов прячется. Хороша молодая поросль берез, тянущаяся вверх за своими

высоченными белоствольными предками. Налетит из Хотькова ветерок, и березовая листва в вышине заиграет на солнце, зашепчется. О чем? Не о прошлом ли? А птицы — такие же неугомонные, как бывшие любимцы Аксакова. Пахнут липы на Гоголевской аллее. Воздух прозрачен. Со станции доносится грохот пролетающего экспресса. К воротам аксаковского музея подъезжают нарядные автобусы с экскурсантами.

Покидая аксаковский дом, спускаясь с косогора на дорогу, обернешься и, как некогда Тургенев, когда в последний раз уезжал из Абрамцева, увидишь все такой же коренастый, крепко вросший в землю аксаковский дом. Долго в раздумье будешь глядеть на него.

* * *

Приютившись в дальнем углу Подмосковья, Абрамцево живет на свете с давних времен.

Многие годы не было в нем ничего примечательного. Лишь привлекала пленительная по красоте земля. Как невесты в белом убранстве, стояли стройные березы, и высокое небо над ними было торжественно и чудно. Зеленые огромные ели стерегли покой нетронутого леса. В полноводной студеной речке полным-полно было язей, плотвы, окуней. В ветвях — веселый птичий гомон. Багряным огнем полыхали закаты. Лунная дорожка бежала по уснувшему пруду...

Никто, вероятно, не обмолвился бы ни словом о сельце Абрамцеве, или, как звали его в старину, Абрамкове, если бы не произошли здесь памятные события.

Жило оно и жило, маленькое сельцо. Приткнулось к большой дороге, ведущей к Троице-Сергиевой лавре. Рядом дремали деревеньки Быково и Мутовки. В четырех верстах стоял на горе бело-розовый Хотьков монастырь, славившийся богобоязненными монашенками. В положенное время монастырский колокол густым басом гудел по всей округе. Прогудит, спугнет тишину — и снова безмолвие. Далеко по пыльной дороге чернели цепочки богомольцев, тянувшихся к хранимым лаврой мощам Сергия Радонежского. Лишь изредка слышался далекий звон бубенцов ямской почты. Он напоминал о первопрестольной — о Москве, находившейся верст за пятьдесят пять отсюда.

Сельцо переходило из рук в руки — от одного владельца к другому. Крестьян числилось в нем всего «65 душ мужска полу». Ну, что с них возьмешь! Купив такое поместье, его скоро как невыгодное сбывали.

Лет двести назад, в 1768 году, им владел помещик Головин. Потом оно перешло к Рогожину. В 1797 году — к Молчановым, а в 1841 — к Неведомскому. Спустя два года и он сбыл поместье новому владельцу.

Старое Абрамцево внезапно сбросило с себя вековую дрему и зажило новой жизнью.

В старом господском доме стали раздаваться голоса людей, то спорящих о непривычных вещах, то рассказывающих друг другу увлекательные были и небылицы, то до глубокой ночи читающих вслух Гомера. А в липовой аллее зазвенели девичьи песни.

Кто же разбудил дремлющее старое поместье, спрятанное от мира вековыми дубами и березами?

Это сделал человек, пришедший сюда в один из погожих осенних



Столетний дуб в Абрамцево.

дней 1843 года. Купив Абрамцево, новый владелец и прославил этот заброшенный уголок.

Это был Сергей Тимофеевич Аксаков.

Абрамцево преобразилось. Вместе со славой писателя росла и известность его поместья.

Так, в сиянии славы жило Абрамцево до 1859 года, до смерти Аксакова.

Отзвучали голоса великих людей, опустел дом. Тропинки в парке заросли травой. Скамейки в липовой аллее, ставшие реликвиями, покосились. Тишина, безлюдье... Опять Абрамцево погружается в дрему.

Прошло одиннадцать лет.

И Абрамцево воскресло, зажило второй жизнью.

* * *

В 1870 году в Абрамцево появляется Савва Мамонтов. Вместе с ним — великие художники XIX века: Репин, Виктор Васнецов, Поленов, скульптор Антокольский, Суриков, Серов, Нестеров, Коровин, Неврев, Врубель. Приезжают Шаляпин, Станиславский, Ермолова, Федотова.

В Абрамцево создаются известные всему миру произведения русской живописи. Это здесь написаны Васнецовым «Богатыри». Ежедневно поутру у так называемого «Яшкина дома», где жил Васнецов, выводили купленных для этой цели лошадей. На одну взбирался «Илья Муромец» — обросший черной бородой крестьянин, промышлявший в Москве извозным промыслом. На другую — «Алеша Попович», сын Мамонтова Андрей.

У пруда в соседней деревеньке Ахтырке Васнецовым была написана «Аленушка».

Здесь Репин создавал картину «Запорожцы». Один из эскизов помечен автором: «Абрамцево, 26 июня 1878 года». Репиным написан в Абрамцево ряд эскизов к картине «Крестный ход в Курской губернии», где изображены урядник и горбун с богомолкой из соседнего Хотькова.

Кроме «Девочки с персиками» Серова, здесь написаны Нестеровым «Видение отроку Варфоломею», где воспроизведен пейзаж Абрамцева, Суриковым — «Хотьковская дорога»...

* * *

Время шло. Умерли Мамонтовы. Разъехались художники. Снова в Абрамцево тишина.

Потянулись десятилетия. И Абрамцево воскресло.

Началась его третья жизнь.

На этот раз — жизнь заповедника русского искусства, хранителя духовного богатства народа.



С. И. Мамонтов за роялем среди художников: И. Е. Репин, В. И. Суриков, К. А. Коровин, В. А. Серов и М. М. Антокольский. У стены — статуя «Христос» Антокольского.
Фотография.

Музей-усадьба «Абрамцево».

Сохранена березовая аллея, по которой возвращался с дальних прогулок Гоголь. По этой аллее он вместе с Аксаковым ходил в лес по грибы. Вспоминаются проделки Гоголя. Чтобы порадовать терявшего зрение Аксакова, Гоголь незаметно подкладывал на тропинке, по которой они шли, самые крупные белые грибы — пусть Аксаков подумает, что сам их нашел.

Скамейка под липами. На ней Щепкин рассказывал своим любимцам, дочерям Аксакова, про старину, про мытарства крепостного актера Мишки Щепкина, дворового мальчика графа Волькенштейна.



Вид на долину реки

Речка Воря... Каких людей она не видывала на своем берегу, каких речей не слышала, свидетелем каких чувств, стремлений, идеалов она не была, эта когда-то шустрая, говорливая речонка, а ныне постаревшая, осторожно пробирающаяся вперед, словно боясь расплескать дорогие воспоминания, зыбкие-зыбкие, уходящие в даль времени...

Как нельзя мыслить жизнь Пушкина без села Михайловского, Льва Толстого — без Ясной Поляны, Тургенева — без Спасского, так жизнь и творчество Аксакова трудно представить себе без Абрамцева.

Здесь каждая пядь земли — страница истории русского искусства. Все напоминает о людях, которые здесь жили, любили, творили. И верили в грядущее, по-своему боролись за него.



Вори в Абрамцево.

А вот и дом!

Коренастый серый аксаковский дом. В нем нет ничего особенного, вычурного. Архитектура его типична для своего времени. Чехов писал из Ялты Станиславскому, готовившему постановку «Вишневого сада»: «Дом должен быть большой, солидный, деревянный, вроде Аксаковского...»

Войдем в аксаковский Дом-музей.

В одной из комнат, в углу у самой двери, маленький столик, на нем — раскрытая книга. Среди множества записей такая:

«Спасибо советскому правительству, сохранившему память об Аксакове».

Прошло более ста лет, и далекие потомки — современники космических полетов — не могут без волнения читать Аксакова, писавшего гусиным пером при свечах.

Аксаковские строки о русской природе... Это истоки будущего Левитана, Пришвина, Паустовского...

Вслушайтесь в строки Аксакова:

«...природа, пробудясь от сна, начнет жить полною, молодою, торопливою жизнью; когда все переходит в волнение, в движение, в звук, в цвет, в запах. Ничего тогда не понимая, не разбирая, не оценивая, никакими именами не называя, я сам почувствовал в себе новую жизнь, сделался частью природы...»

Попав в Абрамцево, в аксаковский музей, люди ищут ключ к пониманию Аксакова.

До сих пор об Аксакове очень мало написано. Много лживых ярлыков пытаются налепить в свое время на литературное наследие Аксакова. До революции С. А. Венгеров писал об Аксакове, как о «бессознательном летописце». Ему вторил В. Д. Смирнов: «...Он был бы директором межевого института, умер бы на перине, если бы некоторые обстоятельства не пробудили громадного, но спящего все время литературного таланта».

После революции посыпались новые обвинения. Против Аксакова пошли в атаку воинствующие представители вульгарного социологизма, перечеркнувшие почти всю дореволюционную культуру, литературу, искусство. Они обвинили Аксакова в том, что он «проявляет классовую психологию крепостника, изображая крепостной строй с полным сочувствием к нему». Но стоит внимательно вчитаться в произведения Аксакова, изучить материалы его архива, как подобные обвинения разлетаются в прах. Лишь в последнее время в обширных комментариях С. И. Машинского к вышедшему в свет в 1955 году собранию сочинений Аксакова и впоследствии в его книге о жизни и творчестве писателя дано глубокое, всестороннее исследование аксаковского литературного наследия.



Старинный светильник в доме Аксаковых.

*Музей-усадьба
«Абрамцево».*



Дом Аксаковых со стороны парка.

* * *

О творчестве Аксакова писали Гоголь, Тургенев, Лев Толстой, Чернышевский, Добролюбов, Некрасов, Салтыков-Щедрин, Шевченко.

Белинский особо ценил в Аксакове «верное чувство поэзии».

Посвятил творчеству Аксакова две статьи Добролюбов. Он признал историческое значение книг Аксакова, «как достоверных памятников времен минувших». Добролюбов также считал, что аксаковская



Нижний пруд в Абрамцево.



Большая поляна у реки Вори.

«летопись эпохи» помогала читателям уяснить себе современную им жизнь, увидеть ее основное зло — крепостной строй.

Показательно отношение Аксакова к критике Добролюбова. Прочитав его статью, Сергей Тимофеевич «остался вообще доволен этой критикой», как писала в 1858 году Вера Сергеевна Аксакова в письме к Карташевской.

Герцен, Некрасов и Салтыков-Щедрин считали книги Аксакова драгоценным вкладом в русскую литературу.

Особенно памятны слова Горького об Аксакове.

Алексей Максимович высоко ценил Аксакова. Он почувствовал в его творчестве огромную жизнеутверждающую силу. О «Семейной хронике» Аксакова и «Записках охотника» Тургенева Горький писал:

«Я почувствовал, что такое хорошая книга, и понял ее необходимость для меня. От этих книг в душе спокойно сложилась стойкая уверенность: я не один на земле и — не пропаду!»

Писатель Лев Пасынков рассказывает:

«1917 год. Горький, как всегда, упрямо работает с раннего утра. В полдень он иногда прогуливается. На Горьком длинное пальто, ши-

тое по-старинному, пальто мастерового, широкополая итальянская шляпа, под нею так неожиданны его свисающие усы.

— Хотите взглянуть, что выбрасывает из себя утроба столицы?

Горький на пороге магазина случайных вещей.

...На фоне роскошного гобелена, покрывающего стены, висит портрет Аксакова работы Крамского.

— И вы, старики, сюда же! — укоризненно говорит портрету Алексей Максимович.

Слегка постучал палкой об пол, покашлял, помедлил.

— Голубушка,— обращается он к чопорной продавщице,— в этой случайной обстановке не место сему не случайному для нас полотну.— И указывает палкой: — Аксаков! Крамской! Вы бы перевесили хотя б в тот угол...

— В темный угол?

— Ничего. Они и из угла будут светиться».

Мы должны знать и помнить, что в списке книг, которые Ленин просил подобрать для его библиотеки в Совнарком, наряду с Пушкиным, Гоголем, Толстым, Чеховым было имя Аксакова.

Творчество Аксакова живет и волнует до сих пор. Наш современник, читая его книги, лучше познает светлое, чистое в мире и сам будет стремиться стать благороднее.

Аксаков ценен нам многими гранями своего дарования. Он дал нам непревзойденные образцы чистой русской речи. Его поэзия родной земли созвучна нашему сегодняшнему обостренному вниманию к природе, земле, жизни, космосу.

* * *

В аксаковском Доме-музее в Абрамцеве хранится много ценных материалов о жизни и творчестве Аксакова.

Собраны портреты, гравюры, мебель, первые издания произведений Аксакова, Гоголя, Тургенева.

В музее пять комнат из десяти посвящены Аксакову: столовая Аксаковых, кабинет писателя, комната, где собраны экспонаты, отражающие его творчество, и две комнаты, где собраны материалы о дружбе Аксакова с Гоголем и Тургеневым.

В кабинете Аксакова привлекает внимание сделанная им в 1847 году в старом альбоме запись: «Всякий клочок бумаги долговечнее самой долгой человеческой жизни». В альбоме находится написанный Аксаковым отрывок «Из семейной хроники», о детстве и юности сына — Григория Сергеевича.

В музее находится картина художника Трутовского «Аксаков диктует дочери». Много материалов посвящено Гоголю. Здесь находится дорожная шкатулка Гоголя, где он хранил рукописи. Шкатулка была подарена Аксакову матерью писателя — Марией Ивановной Гоголь.



Липовая аллея в абрамцевском парке, где любил гулять Гоголь.

В этом зале — картина «Гоголь слушает кобзаря» и офорт «Гоголь читает писателям и артистам Малого театра в 1851 году комедию «Ревизор». Среди слушателей, изображенных художником, Аксаков, его сын Иван, Тургенев, Щепкин. Интересны иллюстрации к первым произведениям Гоголя: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород».

Тургенев и Аксаков... Этой большой теме посвящен значительный раздел аксаковского Дома-музея.

Среди картин — известный портрет Тургенева работы Репина. Тургенев изображен величавым старцем. Есть здесь и другой портрет Тургенева, написанный художником Богомоловым в 1854 году, когда Тургеневу было тридцать шесть лет.

Много ценных экспонатов в музее. Среди них — первая публикация тургеневского рассказа «Муму», вызвавшего много толков. Когда рассказ был прочитан в доме Аксаковых, Иван Сергеевич, увидев в нем Герасиме символический образ русского народа, написал Тургеневу: «...Он, разумеется, со временем заговорит, но теперь, конечно, может казаться и немым, и глухим».

А вот и уголок Шевченко. В письме от 4 января 1858 года Шевченко писал Аксакову о прочитанной «Семейной хронике»: «Я давно уже и несколько раз прочитал ваше изящнейшее произведение, но теперь я читаю его снова, и читаю с таким высоким наслаждением, как самый нежный любовник читает письмо своей боготворимой милой. Благодарю вас, много и премного раз благодарю вас за это высокое сердечное наслаждение».

Наверху, в мезонине, хранятся архивные материалы. Обширная, тщательно составленная картотека, подобно компасу, ведет по творческим путям писателя, во многом еще не исследованным.

О Г Л А В Л Е Н И Е

«Белые боги»	3
Гоголь приехал!	23
По лестнице славы	53
Преодолевая препятствия	79
Михайло Щепкин	101
Война	113
После тридцати лет молчания	129
Пришел калика перехожий	147
Тургенев	163
У последней черты	181
По новому пути	193
Три жизни (<i>Вместо послесловия</i>)	201

*На суперобложке
Дом-музей «Абрамцево».*

На фронтиспise — река Воря.

Для среднего и старшего возраста

Яновский-Максимов Н. М.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ БАГРОВА-ВНУКА

Ответственный редактор А. В. Ясиновская.
Художественный редактор С. И. Нижняя.
Технический редактор М. А. Кутузова.
Корректоры

Л. М. Короткина и К. П. Тягельская.

Сдано в набор 18/XII 1965 г. Подписано к печати 11/V 1966 г. Формат 70 × 90^{1/16}. 13,63 п. л. 15,95 усл. печ. л. (14,33 + 1 вкл. = 14,47 уч.-изд. л.). Тираж 50 000 экз. ТП 1966 № 533. А00655.
Цена 1 р. 12 к. на бум. № 1.
Издательство «Детская литература». Москва, М. Черкасский пер., 1.

Фабрика «Детская книга» № 1 Росглавополиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Сушевский вал. 49.
Заказ № 3448.

О П Е Ч А Т К А

На стр. 158, 4-я строка сверху напечатано: «Николая I».
Следует читать: «Александра I».



